

ВАСИЛЕНКО В.А.

УДК 94(47)“1914/1919”

“ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ” И ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

Статья посвящена анализу военных и политических причин краха, постигшего Российскую империю в ходе I Мировой войны. Акцентировано внимание на ряде принципиальных отличий между двумя Мировыми войнами. Кратко проанализирован феномен создания мифов о Великой войне в современной России.

Ключевые слова: I Мировая война, Российская империя, монархия, дезинтеграция, революция, национализм

Стаття присвячена аналізу військових і політичних причин краху, що спіткав Російську імперію в перебігу I Світової війни. Акцентовано увагу на низці принципових відмінностей між двома Світовими війнами. Коротко проаналізовано феномен створення міфів про Велику війну в сучасній Росії.

Ключові слова: I Світова війна, Російська імперія, монархія, дезинтеграція, революція, націоналізм

The article has analyzes of the military and political causes of the collapse that struck the Russian Empire during the First World War. The main attention is focused on a number of fundamental differences between the two World Wars. Otherwise, briefly analyzed the phenomenon of the creation myths of the Great War in Russia nowadays.

Key words: the First World War, the Russian Empire, monarchy, disintegration, revolution, nationalism

20 ■ Катастрофу, постигшую Российскую империю в I Мировой войне, Винстон Черчилль описывал со свойственным ему красноречием (которое позже сделает его нобелевским лауреатом): “Ни к одной из наций судьба не была так неблагоприятна, как к России. Ее корабль пошел ко дну, уже видя перед собой порт. Она вынесла шторм, когда на чашу весов было брошено все. Все жертвы были принесены, все усилия предприняты. Отчаяние и предательство узурпировали власть в тот самый момент, когда задача достижения победы над противником была уже решена... С победой в руках она рухнула на землю, съеденная живо, как Ирод давних времен, червями”.

Дэвид Ллойд-Джордж возражал своему младшему коллеге: “Русский ковчег не годился для плавания. Этот ковчег был построен из гнилого дерева, и экипаж был никуда не годен. Капитан ковчега способен был управлять увеселительной яхтой в тихую погоду, а штурмана избрала жена капитана, находившаяся в капитанской рубке”. И еще: “Черви, которые пожирали внутренности старого режима и подрывали его силы, были вызваны к жизни разложением самого режима. Царизм пал потому, что его мощь, его значение и авторитет оказались насквозь прогнившими. Поэтому при первом ударе революции царизм распался... Черчилль, описывая катастрофу в России, говорит:



“Пароход утонул близ заветной гавани”. Эта нелепая картина кажется привлекательной только потому, что прекрасный художник вставил ее в рамку блестящей риторики. Черчилль продолжает: “Россия перенесла шторм”. Да, Россия перенесла шторм, но с разбитыми бортами. С негодным, нуждающимся в серьезном ремонте механизмом. Слабый и глупый капитан беспомощно пытался вести ее дальше с помощью дрянных офицеров и с командой, которая вот-вот готова была взбунтоваться...” [Цит. по: 62, с.155, 171-172].

Кто из двух выдающихся британских политиков был в этом случае ближе к истине? Споры об этом не прекращаются вот уже ровно век, миновавший с первых выстрелов Великой войны, и, уверен, не утихнут еще долго.

Тезис о том, что I Мировая война была событием, переломившим ход истории, банален, хотя бы в силу своей очевидности. Именно она положила конец целой эпохе европейской (что тогда было почти синонимом мировой) истории, начавшейся с окончанием наполеоновских войн. Она же стала началом “короткого XX века”, закончившегося, по общепринятому мнению, в 1991 г. (Даже тогда война не прекратила собирать свою дань: от оставшихся боеприпасов в тот год погибло 36 человек [2, с. 150]). II Мировая война стала прямым, хотя и не немедленным, следствием и продолжением предшественницы. По сути, период 1914-45 гг. можно считать своеобразной “тридцатилетней войной” [70, с.23, прим.]. Неудивительно, что в Европе последнюю и сейчас порой называют просто “Великой войной”, даже после трагедии 1939-45 гг.

Почему так? О причинах можно рассуждать долго. Свою роль сыграли многие обстоятельства. То, что I Мировая все же была почти исключительно войной внутриевропейской, тогда как II – лишь частично таковой. То, что двое из трех “держателей ключей от победы” во II

Мировой – неевропейские государства: одно – географически, второе (в значительной мере) – цивилизационно. То, что понесенные большинством европейских участников конфликта – за исключением Германии – жертвы в первом случае были более масштабными. То, что к Сталинграду, Дрездену, Бабьему Яру и Аушвицу Европа уже была внутренне подготовлена (это можно утверждать со всей определенностью) четвертью века раньше “Верденской мясорубкой”, неограниченной подводной войной, газовой атакой у Ипра и голодной блокадой Германии. Об этом переходе к тотальной войне выдающийся британский военный историк Б.Г.Лиддел Гарт писал: “Нелегко было консервативному уму понять, что с переходом от войны армий к войне целых народов неопределенный кодекс военного рыцарства должен смениться в борьбе за существование вырвавшимися наружу примитивными инстинктами” [23, с.84]. (Одним из следствий этого стали исчезновение осознававшейся ранее, хотя и не всегда соблюдавшейся, четкой грани между комбатантами и некомбатантами и превращение партизанской войны из грубого нарушения кодекса чести в акт жертвенности и героизма). Стало ли столетие, которому положила начало Великая война, более гуманным, нежели предшествующее? Вряд ли, и не только для Европы.

Стоит обратить внимание и на тот (не всегда осознаваемый) факт, что, в отличие от войны 1914-18 гг., II Мировая была весьма “фрагментирована”, по сути, распадаясь на ряд эпизодов, пусть и весьма тесно взаимосвязанных. Польская кампания вермахта (к которой, после хладнокровной паузы, присоединилась армия СССР); “странная война” на Западе; “зимняя война” Советского Союза против Финляндии; захват Германией Норвегии и Дании; 6-недельный блицкриг, трофеем которого стали Северная Франция, Бельгия и Нидерланды; советская аннексия

государств Балтии; “битва за Англию”... Перечень можно было бы продолжать. Более того, ряд основных участников II Мировой – за примечательным исключением Великобритании – или далеко не с самого начала непосредственно участвовали в войне (США), или в ходе войны оказались в ином лагере, нежели в начале (СССР), или надолго утратили политическую субъектность (Франция). Отсюда, безусловно, проистекает и легкость “выкраивания” советской историографией “собственной” войны из общего исторического полотна II Мировой.

Немецкий историк Г.Манн (сын Т.Манна) справедливо назвал Великую войну “матерью всех катастроф”, постигших человечество в XX веке [15, с.279]. В первую очередь она стала фатальной для Европы. До этого на протяжении четырех веков ее могущество неуклонно росло, несмотря на не прекращающееся соперничество, зачастую выливавшееся в войны, между отдельными государствами. Единственная (хотя куда менее масштабная) аналогия – последний век Римской республики, когда ожесточенные гражданские войны сосуществовали, словно в параллельной реальности, с триумфальной внешней экспансией, которую вели SPQR. К началу XX века мировое господство Европы ни у кого не могло вызвать сомнений. В эту картину достаточно гармонично вписывались также США как заокеанская “проекция” Европы и Россия, чье усиление имело одним из несомненных источников “европеизацию”, пусть неполную и непоследовательную. Как представляется, осознание европейскими нациями этого могущества стало одним из факторов *sine qua non*, сделавших возможными Великую войну (точно так же, как после 1945 г. стремление к объединению стало признанием собственной прогрессирующей слабости).

Война стала бессмысленным самоистреблением европейцев с ошеломляющими результатами:

ограбленные и озлобленные побежденные – и победители, не ставшие ни богаче, ни могущественнее. Именно I Мировая война стала первым и решающим шагом к утрате Европой (а в отдаленной перспективе, возможно, – и цивилизацией Запада в целом) мирового господства, а главное – лидерства. Проницательнее и раньше всех это осознал О.Шпенглер, отразив это в своем “Закате Западного мира” (“*Der Untergang des Abendlandes*”, 1918-1922). Безусловно, не случайно подобный труд появился именно в поверженной Германии, но было бы упрощением и видеть в этом лишь отголосок национальной катастрофы. Следует вспомнить и о “первой глобализации”, прерванной вследствие войны на 70 лет [24, *passim*].

Понесшую огромные человеческие жертвы и материальные потери Европу охватила психологическая усталость: “последствия ее (войны. – В.В.) были многообразны и бесчисленны, но над всем преобладало одно: разочарование” [51, с.566]. Известные слова о том, что европейские нации потеряли цвет своей молодежи, отнюдь не были лишь громкой фразой. “Потерянное поколение” утратило доселе общепризнанные ценности и идеалы, сгоревшие в огне Великой войны. Это отразили в своем творчестве, хотя и по-разному, Э.М.Ремарк и Э.Юнгер.

Наконец, нельзя забывать, что в обилии возникшие в межвоенный период тоталитарные и авторитарные режимы правого толка были бы вряд ли возможны без предшествующей Великой войны, так же, как и без победы большевиков и многочисленных попыток захвата власти социалистами. Собственно, в обоих случаях речь шла об открытом и в ряде случаев успешном противостоянии идеалам Просвещения и Модерна в целом. В 1918 г. Н.Бердяев писал: “Решительное погружение Европы в социальные вопросы, решаемые злобой и ненавистью, есть падение человечества” [Цит. по: 60, с.436].



Упомянутое противостояние между левыми и правыми радикалами продолжалось, в том числе и внутри многих стран, в годы II Мировой войны, которую Дж. Фуллер не без оснований назвал “европейской гражданской войной” [Ср.: 6]. Такое же название (“Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus”, 1987) получила встретившая яростную критику со стороны левых интеллектуалов книга Э. Нольте. Отмечу, что и I Мировую войну в некотором смысле тоже можно считать “гражданской”, с учетом цивилизационного единства Европы. В то же время масштабы коллаборационизма практически во всех странах в 1914-18 гг. были минимальны: идеи пролетарского интернационализма тогда явно не выдержали конкуренции с патриотизмом и национальными чувствами. Особняком здесь стоит лишь случай России, на котором в дальнейшем и будет сфокусировано внимание. А вот во II Мировой действительно имела место борьба, когда по разные стороны баррикад оказывались (в массовых масштабах) граждане одних и тех же стран: СССР – крупнейший, но вовсе не уникальный пример этого.

Одним из прямых следствий Великой войны стало стремление победителей любой ценой избежать нового столкновения. Впрочем, как и предсказывал Черчилль, сделать этого не удалось. В наше же время ужасы обеих войн, наложившись в памяти народов друг на друга, сделали Европу – точнее, ее западную, “старую” часть – во многом уникальным регионом мира, но уже в совершенно ином смысле, нежели столетие назад. В наши дни и рядовые граждане, и политическая элита здесь самоуспокоенно верят в то, что наступил (по крайней мере, для них) предсказывавшийся Ф. Фукуямой “конец истории”, когда самыми серьезными вызовами и угрозами могут стать разве что замедление темпов роста ВВП или снижение уровня занятости.

Что до причин разразившейся катастрофы, то уже в апреле 1915 г. один из ближайших советников президента Вудро Вильсона “полковник” Эдвард Хауз пронизательно констатировал то, что война стала результатом не чьих-то целенаправленных злонамеренных действий, а ряда непреднамеренных последствий (которые, собственно, и составляют главную сущность исторического процесса. – В.В.) [1, т.1, с.94-95]. Трудно спорить с тем, что войны, во всяком случае, в том виде, какой она приняла, вряд ли кто-то хотел.

Как в годы войны, так и после нее усиленно муссировался тезис о том, что основная вина должна быть возложена на германский милитаризм в целом и на отдельных его представителей. Этот тезис страны-победительницы закрепили в Версальском договоре. Вскоре, однако, стал наблюдаться отход от таких крайних воззрений. К примеру, уже в 1930 г. Б.Г. Лиддел Гарт признал, что утверждения о преднамеренных действиях Вильгельма II по развязыванию войны являются не более чем “лжеисторической пропагандой” [23, с.17].

Впрочем, естественный процесс отхода от пропагандистских штампов военного времени был во многом обращен вспять событиями II Мировой войны. В частности, в 1961 г. немецкий историк Ф. Фишер опубликовал работу “Рывок к мировому господству”, в котором попытался доказать, что руководство Германии целенаправленно готовилось к большой войне, руководствуясь мотивами достижения мирового господства, а следовательно, было главным, если не единственным виновником катастрофы. Свой тезис он развил в 1979 г. в книге “Сговор элит. К вопросу о преемственности господствующих структур в Германии с 1871 по 1945 год”, фактически утверждая, что Адольф Гитлер явился не более чем продолжателем дела Отто фон Бисмарка.

После бурных дебатов точка зрения Фишера на какое-то время возобладала и

среди профессионалов (так, Й.Фест писал о том, что “почти столетняя империалистическая преемственность германской истории достигла в Гитлере своей кульминации” [65, с.366]), и в немецком обществе в целом. Иного и нельзя было ожидать в условиях, когда значительная часть политиков и интеллектуалов Германии настойчиво прививала своим соотечественникам убеждение в коллективной вине и ответственности за преступления национал-социализма всех немцев. Это должно было касаться даже поколений, рожденных после войны: как выразился бы Тарас Шевченко, “і мертвих, і живих, і ненароджених”. Для данного случая подошли бы и слова (правда, написанные ранее и по другому поводу) его собрата по перу Бертольта Брехта: “Сейчас пришли такие времена, / Что даже о деревьях разговоры / Уже в вину поставить можно нам / Как укрывательство бесчинства этой своры”.

Однако, разумеется, никакая, в том числе и упомянутая, ситуация не может длиться вечно. Со временем доводы Фишера стали подвергаться более критическому анализу, что привело в большинстве случаев к их опровержению. Впрочем, убеждение в первостепенной вине Германии в развязывании I Мировой войны, пусть и в не столь радикальном варианте, остается достаточно распространенным [52, с.5-8; 66, с.140, 142].

С другой стороны, в межвоенном германском обществе было чрезвычайно популярным представление о “коварной” политике Великобритании (“старого пиратского государства”, по выражению Альфреда фон Тирпица), сыгравшей едва ли не ключевую роль в цепи событий, сделавших войну возможной. Прежде всего речь шла о действиях возглавившегося Эдвардом Греем британского внешнеполитического ведомства, которое, по мнению весьма многих, умело подталкивало основных акторов европейской политики к войне. Подобный

взгляд переживает настоящий ренессанс в современной России (как не вспомнить определение истории как “политики, опрокинутой в прошлое”). Так, утверждается, что идеальным исходом войны для Великобритании (как варианты: англосаксов, “атлантических государств”, Запада) были “разгром четырех великих империй Востока” [4, с.3-4] и уничтожение “европейского монархизма” [40, с.5]. В данном случае западным (в узком или широком смысле) политикам совершенно очевидно приписываются способности и возможности по предвидению событий и воздействию на них, явно граничащие со сверхъестественными.

(В этой связи приведу один пример. Накануне и в начале II Мировой войны руководство СССР во главе с Иосифом Сталиным отнюдь не скрывало того, что надеется на взаимное ослабление “империалистических” держав с тем, чтобы вступить в игру в решающий момент. В конечном счете, как известно, в Старом Свете в результате войны действительно возник столь желанный для Советского Союза вакуум силы. Однако чересчур самонадеянным было бы считать, что весь приведший к этому процесс сколько-то полно просчитывался в Москве и направлялся оттуда. Во всяком случае, после молниеносного разгрома Франции летом 1940 или катастрофических поражений советских войск годом позже вряд ли кто-то мог, даже в общих чертах, решиться на подобные предсказания).

То, что истории I Мировой войны в советский период уделялось относительно мало внимания, не должно удивлять: “империалистическая” война рассматривалась прежде всего как прелюдия к пролетарской революции. Помимо того, не стоит сбрасывать со счетов и следующий момент: лозунг “поражения своего правительства” и призывы к перерастанию империалистической войны в гражданскую могли вызывать ненужные ассоциации с событиями 1941 и



последующих годов. Таким образом, смело можно сказать, что рассматриваемая война долго оставалась во многом “неизвестной” (по аналогии с американским документальным сериалом о II Мировой).

В современной отечественной историографии интерес к Великой войне, без сомнения, присутствует, материализуясь в соответствующих исследованиях. В то же время верно и то, что события этой войны вновь-таки выступают, как правило, в качестве фона, на котором разворачиваются собственно украинские сюжеты [См., напр.: 12].

О всплеске внимания к событиям I Мировой войны как таковой вполне правомерно говорить применительно к российской историографии. В то же время этот интерес зачастую весьма своеобразен и оставляет стойкое впечатление некоей “ушибленности”, подобно той, которая имела место в Германии после 1918 (но не 1945!) г. Многие современные российские авторы, как представляется, ставят задачу не только (а иногда и не столько) изучения и осмысления, а и “преодоления” и психологически комфортного “вписывания” этого сюжета в историю своей страны.

Так, уже название одного из недавних сборников, посвященных анализируемой проблематике (“Забывтая война и преданные герои”, 2011) явственно напоминает рассуждения бывших солдат кайзера об “украденной победе” и “ударе в спину” (хотя немецкая армия все же была побеждена прежде всего на поле боя), а позднее – бывших генералов фюрера об “утраченных победах”. Это априорное ощущение лишь усиливается после знакомства с вошедшими в сборник материалами. Значительная их часть носит явственный отпечаток реваншистских настроений (как представляется, по отношению к событиям не столько 1917, сколько 1991 г.).

В среде современных российских исследователей весьма распространены представления о едва ли не решающей роли России в конечном успехе ее союзников и

как следствие – глорификация (зачастую безосновательная) соответствующих эпизодов. Поиск же ответа на вопрос, каким образом Россия не сумела воспользоваться плодами победы, добытой прежде всего ее усилиями, естественно, зачастую приводит к поиску причины (если не единственной, то решающей) вовне, причем не столько в стане Центральных держав, сколько Антанты, прежде всего, как уже отмечалось, англосаксов. Фобии по отношению к последним зачастую даже не скрываются [30]. Корни этого феномена восходят отчасти к идеям (ныне активно реанимируемым) таких представителей российской геополитики, как А.Вандам (Едрихин) [См., напр.: 9], отчасти же – лежат в общей интеллектуальной атмосфере постельцинской России.

Самому наличию упомянутых фобий вряд ли приходится удивляться: Россия, а позднее СССР за всю историю не сумели победить ни в одной заслуживающей упоминания войне (“горячей” или “холодной”), в которой англосаксы находились бы по ту сторону барьера. Более того, победы над наполеоновской Францией и гитлеровской Германией, ныне зачастую трактуемые в России как триумф в противостоянии объединенной Европе, имеют общий существенный “изъян”: в числе побежденных не было все тех же англосаксов. Последние даже не придерживались нейтралитета, а деятельно противостояли тем же врагам, что и Россия (преследуя, разумеется, собственные интересы).

Симптоматичны поиски некоторыми исследователями (например, Н.Нарочницкой) “религиозно-философской цели” войны, в качестве какой называется “уничтожение последних христианских монархий в Европе, полная смена парадигмы на рационалистические секулярные государства” [37, с.13]. Трудно не заметить, насколько эти заявления перекликаются с мнениями, господствовавшими веком ранее в

Германии. Так, Гельмут фон Мольтке-младший на лекции в Немецком обществе (ноябрь 1914 г.) утверждал следующее: “Латинские народы прошли зенит своего развития – они не могут более ввести новые оплодотворяющие элементы в развитие мира в целом. Славянские народы, Россия в особенности, все еще слишком отстали в культурном отношении, чтобы быть способными взять на себя руководство человечеством. Под правлением кнута Европа обратилась бы вспять, в состояние духовного варварства. Британия преследует только материальные интересы. Одна лишь Германия может помочь человечеству развиваться в правильном направлении. Именно поэтому Германия не может быть сокрушена в этой борьбе, которая определит развитие человечества на несколько столетий” [Цит. по: 60, с.73-74]. 15 июня 1918 г. на банкете в честь 30-летия своего правления Вильгельм II заявил, что “война представляет собой битву двух мировых философий. ... Либо прусско-германотевтонская мировая философия – справедливость, свобода, честь, мораль – возобладает в славе, либо англосаксонская философия заставит всех поклоняться золотому тельцу. В этой борьбе одна из этих философий должна уступить место другой” [Цит. по: 62, с.165].

К поиску “философского фундамента” войны были склонны не только государственные мужи и военные Германии, но и немецкие ученые. В частности, один из ярчайших представителей когорты катедерсоциалистов Вернер Зомбарт посвятил этому сюжету брошюру под названием “Торгаши и герои. Раздумья патриота” (“Handler und Helden. Patriotische Besinnungen”, 1915), противопоставляя “торгашеский” английский национальный характер “героическому” немецкому [17]. Интересно, что Зомбарт провел параллель в этом отношении между англичанами и изображенными четырьмя веками ранее Томасом Мором утопийцами. Здесь и нелюбовь и презрение к войне, и стремление

действовать не силой, а искусством и хитростью, и склонность беречь своих граждан, но щедро расходовать деньги, воюя по возможности чужими руками [17, с.28-31]. (Замечу, однако, что последнее обстоятельство вполне может интерпретироваться и как свидетельство того, что в действительности для “торгашеской нации” деньги представляют собой вовсе не самоцель, а, в значительной степени, средство, что подрывает всю цепь рассуждений, выстроенную Зомбартом).

Впрочем, если в Германии после 1945 г. рассуждения о собственном духовном превосходстве над Западом по ряду понятных причин отошли в прошлое, этого ни в коем случае нельзя сказать о России. Единственное, что следует заметить по данному поводу, так это то, что по самому своему определению духовность не может быть сведена к какому-либо одному стандарту и уж тем более (в отличие от материальных показателей) не подлежит объективному измерению. Здесь трудно не согласиться со словами одного из литературных персонажей Виктора Пелевина: “какой-нибудь Afro-African из экваториальных джунглей мог бы решить, что Ватикан совершенно бездуховное место, потому что там никто не мажет себе лоб кровью белого петуха”.

Одним из общих мест в российской исторической литературе является утверждение, в соответствии с которым в начале войны Россия спасла своих западных союзников, начав неподготовленное наступление в Восточной Пруссии, и тем самым внесла весомый, если не решающий вклад в “чудо на Марне” и срыв немецкого блицкрига. В ходе войны подобное мнение в какой-то мере разделяли и некоторые руководители западных армий: так, в середине ноября 1914 г. командующий британским экспедиционным корпусом Джон Френч, анализируя сложившуюся ситуацию, утверждал, что “все зависит от России” [62, с.128].



Впрочем, по окончании войны не были редкостью и более взвешенные (как бывает обычно постфактум) оценки. Так, пресловутое снятие немецким командованием 25 августа двух корпусов и кавалерийской дивизии с правого фланга, вопреки заветам Альфреда фон Шлиффена, и их переброска в Восточную Пруссию были, по мнению Б.Г.Лиддел Гарта, грубой ошибкой [23, с.69, 80]. Эти войска все равно опоздали, не сыграв какой-либо роли в разгроме русских армий у Танненберга. Существует мнение, в соответствии с которым российское наступление в Восточной Пруссии не имело решающего влияния на ход войны. Большой была роль ряда ошибок, совершенных немцами, в числе которых переброска сил с правого фланга – не самая серьезная. Более того, сам план Шлиффена в 1914 г. уже вряд ли мог быть реализован даже при самых благоприятных обстоятельствах [2, с.68-76]. Еще Е.Тарле предположил, что уже факт вступления в войну Британии обесмысливал упомянутый план [2, с.56-57]. (В условиях войны, которая вскоре приобрела тотальный характер, роль Британии, которой, по выражению Черчилля, принадлежала роль “кошелька коалиции”, было невозможно переоценить). В этом случае даже возможный разгром Франции не приводил бы к окончательному краху Антанты.

Одновременно надо помнить и о том, что сама Россия отнюдь не из альтруизма, а исходя из чисто прагматических побуждений, была заинтересована не допустить выхода Франции из войны. (В противном случае, даже разгромив Австро-Венгрию, российская армия оставалась бы лицом к лицу с немецкой, а итоги этого противостояния вряд ли принесли бы успех России). Это подчеркивал, например, французский посол в Петербурге Морис Палеолог [42, с.53]. 9 сентября 1914 г. он писал: “Если Франция не устоит, то Россия принуждена будет отказаться от борьбы” [42, с.100]. С такой оценкой были согласны

многие и в русской армии. Генерал Алексей Брусилов считал правильным решением неподготовленное наступление в начале войны: “Францию же необходимо было спасти, иначе и мы, с выбытием ее из строя, сразу проиграли бы войну” [3, с.66-67]. Аналогичные мысли находим и в воспоминаниях адмирала Александра Бубнова о пребывании в должности начальника морского управления при Ставке верховного главнокомандующего [5, с.42-44, 46, 249, 251]. Признание того, что следствием поражения Франции мог стать и проигрыш России, можно встретить и в наше время [40, с.425].

Выразительным контрастом по отношению к “благородству”, “рыцарственности” и “сентиментальности” России, проявленным ею в ответ на “слезные” и “панические” просьбы западных союзников, предстает “эгоизм” последних [71, с.217]. Нередки упреки французов и британцев в том, что они не оказались способны на “жертвенность”, подобную проявленной русскими (М.Свечин) [60, с.231]. В ряде работ постоянно муссируется тезис о недостаточной помощи союзников России, в частности, в 1915 г. [71, с.8, 85, 101, 104-105, 158, 164, 190-191, 193-194, 197-198, 213; 40, с.44, 46, 70, 88].

Оценивая степень обоснованности упомянутых упреков, не будем упускать из виду, что войска Британии и Франции более четырех лет сковывали на Западном фронте основную часть сил германской армии, которая, несмотря на итоговое поражение, была наиболее совершенной военной машиной не только I Мировой войны, а и, вероятно, всего XX века. С тем, что ограниченность помощи, оказываемой России ее союзниками, имела в значительной степени объективные причины, соглашался, к примеру, С.Ольденбург [39, с.662-663]. То, что основные триумфы были добыты Россией в борьбе против Австро-Венгрии и Турции, констатировал один из крупнейших

российских исследователей данной проблематики А. Уткин [60, с.608].

Что же до противостояния с немцами, то, несмотря на отдельные успехи России, в целом “тренд” здесь был однозначен. Один из британских историков высказался по данному поводу следующим образом: “Успехи в Галиции против менее сильной державы не могли компенсировать губительную для морали беззащитность, которую русские стали ощущать после каждого крупного столкновения с немцами” [Цит. по: 60, с.99]. Поэтому решительно противоречат фактам встречающиеся иногда утверждения о том, что именно Россия “перемолола” большую часть живой силы противостоящего Антанте блока (вероятно, подобные выводы сделаны по аналогии со II Мировой войной). Характерна возникающая порой у российских авторов амбивалентность по этому поводу: справедливо отмечая минимальные потери России в сравнении с противниками и союзниками (и используя это как свидетельство боевых качеств российской армии), исследователь несколькими страницами ниже, перейдя к вопросу о грядущем дележе плодов победы, уже твердит о якобы “самых тяжелых потерях”, принесенных на алтарь последней [35, с.73-74, 78].

В то же время в России (как в годы войны, так и за истекшее столетие) стало традицией достаточно редко вспоминать о жертвах западных союзников, хотя понесенные ими потери убитыми и ранеными были огромны – как в абсолютных цифрах, так и относительно численности населения. При всех существующих расхождениях в оценках, не подлежит сомнению, что “процентные” потери, понесенные российской армией, были наименее весомыми среди основных участников войны [См.: 48, с.16-113]. Эти сравнения порождали нескрываемое недовольство союзников России: Палеолог отмечал недостаточность предпринимаемых ею усилий [42, с.658]; несопоставимость потерь

России и западных держав подчеркивал военный атташе Великобритании в этой стране генерал Альфред Нокс [15, с.337-338].

Действительно, бытовавшая накануне войны уверенность в “паровом катке” – неисчерпаемых человеческих ресурсах России – на поверку явилась, по оценке Лиддел Гарта, “величайшим и наиболее опасным заблуждением войны” [23, с.224]. Характерно, что на этот счет обманывались не только иностранцы: по свидетельству британского посла в России Джорджа Бьюкенена, Николай II также был уверен, что располагает изобилием в людях [8, с.120-121]. Действительно, по численности населения к началу войны Россия превосходила Германию в 2,5 раза, Австро-Венгрию – в 3, Великобританию – в 3,5 и Францию – в 4. Неудивительно, что за время войны в Германии было мобилизовано 20,7% населения, во Франции и Австро-Венгрии – 17%, в Великобритании – 10,7%, а в России – всего лишь 8,7% [19, с.68; 38, с.415], и уже это дало повод военному министру Михаилу Беляеву завести речь о том, что человеческие ресурсы России не беспредельны [44, с.576, прим.71].

С учетом вышеуказанного не вызывает удивления выдвинутое М.Палеологом 1 апреля 1916 г. требование более деятельного участия России в войне, с учетом разницы в наличных человеческих ресурсах. Он писал по этому поводу: “По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные – это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь. Говоря так, я вовсе не забываю, что жизнь самого невежественного человека приобретает бесконечную ценность, когда



она приносится в жертву” [42, с.484-486]. Эти слова постоянно цитируют, подчеркивая чуть ли не расистское пренебрежение европейцев к жизням русских солдат. При этом стоит помнить, однако, что, тогда как Россия хронически страдала от аграрного перенаселения, обусловленного высокой рождаемостью, то во Франции прирост населения был близок к нулю.

Любопытно, что и между западными союзниками России не было недостатка во взаимных претензиях. Так, британцы винили французов в чрезмерной нагрузке, выпавшей на долю первых в кампании 1918 г. на Западном фронте [70, с.158-159]. (Вообще надо отметить, что анализ распрей между союзниками представляет собой интереснейший предмет исследования, и не только I Мировой войны. Вспомним, что летом 1941 г., едва отправив последние эшелоны в Германию – а без этих поставок возможности последней вести войну, в том числе и “битву за Британию”, были бы куда скромнее, – руководство СССР практически без паузы стало требовать оказания скорейшей помощи против вчерашнего фактического союзника, причем не только материальной, но и войсками, от той же Великобритании).

Вряд ли можно осуждать какую-либо из сторон за проявление в ходе войны разумного эгоизма, тем более, что и сама Россия подавала подобные примеры. На одном из них стоит вкратце остановиться, тем более, что в данном случае речь идет как раз о весьма недалёковидном эгоизме.

В конце декабря 1914 г. российский верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич обратился через Дж.Бьюкенена к британскому военному министру Герберту Китченеру с просьбой об организации Британией диверсии, которая ослабила бы давление турецких войск на Кавказе [23, с.126, 152; 36, с.33; 52, с.93]. Результатом стала хорошо известная Дарданелльская операция британско-французских сил. Ее итоговый провал,

безусловно, сильно повлиял на оценки, дававшиеся задним числом этой идее первого лорда адмиралтейства Черчилля. Со временем, однако, все чаще стали раздаваться голоса, признававшие план захвата проливов блестящим замыслом (хотя и не надлежащим образом реализованным). Весомость этой оценке придает то, что в ней сходились не только соотечественники Черчилля, но и целая плеяда немецких военачальников: Эрих Людендорф, Эрих фон Фалькенгайн, Лиман фон Сандерс, Макс Гофман, наконец, сам Альфред фон Тирпиц; того же мнения придерживался и посол США в Турции Генри Моргантау [53, с.358-359, 510, 533, 545, 579; 5, с.93; 23, с.122, 124, 129; 60, с.90-91; 62, с.145-146; 52, с.94, 96]. Ситуация, сложившаяся на Западном и Восточном фронтах, делала весьма перспективным удар на одном из периферийных театров боевых действий, имевший целью поиск “ахиллесовой пяты” Центральных держав.

Значение контроля над проливами, безусловно, осознавалось как российскими политическими и военными кругами, так и общественностью [39, с.637]; вспомним хотя бы о том, что и после Февральской революции Павел Миллюков и его единомышленники не соглашались поступиться принципами в этом вопросе. Ситуация усугублялась тем, что в результате войны были перерезаны торговые пути, по которым в мирное время поступало 97% ввоза в Россию, оставив ее “воротами” лишь Владивосток и Архангельск, а овладение проливами позволяло снять эту блокаду.

Неудивительно, что на словах Дарданелльская операция встретила со стороны России полную поддержку [62, с.142]. Более того, российское военное руководство заявило о возможности ее поддержки собственными силами, а Черчилль предложил Николаю Николаевичу атаковать Босфор с суши и с моря, однако все эти намерения так и остались нереализованными [43, с.496-497, 501; 23, с.153-154; 36, с.40]. Главной причиной стало

то, что операция союзников вызвала в России сильнейшие подозрения относительно их истинных намерений [56, с.22]. Очевидно, и достижение в марте 1915 г. секретного соглашения о праве России на контроль над проливами не полностью успокоило ее, и тревога по поводу справедливого раздела шкуры неубитого медведя сохранялась.

Упомянутая подозрительность была свойственна не только консерваторам, откровенно не жаловавшим Британию и Францию, но и приверженцам либеральных взглядов, например, А.Бубнову [5, с.85-87, 250]. Последний как русский моряк весьма ревниво относился к действиям союзников и впоследствии посвятил значительную часть мемуаров доводам в пользу того, что успешное осуществление Россией Босфорской операции принесло бы ей конечный успех в войне [5, с.80-100, 141, 160, 175-193, 243, 245-246, 249, 251-252]. Сторонником подобных действий был и Николай II [7, с.48-49], что, однако, не имело практических последствий. Напротив, последний российский император проявил, с точки зрения британского историка, “близорукий эгоизм”, отвергнув предложенную помощь (3 дивизии) со стороны Греции [52, с.99-100].

Судя по воспоминаниям президента Франции Раймона Пуанкаре, определенная ревность по отношению к задуманной британцами операции, вкупе с отсутствием оптимизма по поводу ее перспектив, имела место и в его стране [43, с.450, 454]. При этом, однако, значение проливов для Франции было несравнимо с таковым для России. Б.Г.Лиддел Гарт так прокомментировал данную ситуацию: “Россия не хотела даже помочь прочистить свою собственную отдушину – Босфор! Она предпочитала задохнуться, чем отказаться от частицы переполюнявших ее амбиций. В конце концов она задохнулась” [23, с.154]. Можно считать слишком далеко идущим вывод ряда соотечественников Лиддел Гарта о том, что успех Дарданелльской операции

мог предотвратить революцию в России и последующее заключение ею сепаратного мира [36, с.378; 52, с.94], однако близорукость действий российской верхушки не вызывает сомнений.

Как известно, в результате Великой войны с исторической сцены сошли не только Романовы, но и Гогенцоллерны, Габсбурги, Османы. Падение династий сопровождалось и крахом самих их государств, за исключением Германии (случай России будет проанализирован ниже). Однако в случае с последними тремя речь идет о проигравших, да и рухнули они накануне, а то и после поражения в войне; Россия же начинала I Мировую в лагере будущих победителей, что делает ее случай, без преувеличения, уникальным. Безусловно, можно утверждать, что без войны, сыгравшей роль катализатора, крах континентальных империй мог и не состояться, а следовательно, не был жестко предопределен заранее. Такой точки зрения придерживается, например, А.Миллер [32, с.42-44, 214]. Опровергнуть это (так же, как и доказать) невозможно. Впрочем, схожий конец всех четырех упомянутых держав, при всем их несходстве, вряд ли может расцениваться как случайность. Примечательную мысль, размышляя о причинах крушения Австро-Венгрии, высказал О.Яси: “уничтожение Габсбургской монархии военным путем – недостаточный довод в пользу того, что крах империи был всего лишь результатом механического процесса, а не органического развития” [72, с.21]. Как представляется, в еще большей мере эти слова применимы к империи Романовых.

В самом деле, последняя обладала рядом важнейших преимуществ: колоссальная территория, контроль над даже малой частью которой превосходил возможности неприятельских армий; огромные человеческие ресурсы; отсутствие (при условии надлежащего администрирования) продовольственных проблем. Тем не менее, все это не предотвратило краха. Даже



российские исследователи вынуждены признавать тот очевидный факт, что их страна оказалась слабейшим звеном в строю противников Германии, обладая наиболее низким “запасом прочности” [45, с.276; 71, с.215]. Думаю, не будет большой ошибкой утверждать, что, с учетом разницы в масштабах, по степени использования своего потенциала Россия по итогам I Мировой войны заняла место примерно между Италией и Румынией.

Впрочем, по мнению одного из крупнейших знатоков российской истории этого периода Р.Пайпса, “хрупкость” России была вполне предсказуема, поскольку ее продемонстрировали уже события 1905 г. [41, ч.1, с.36]. Как следствие, эта страна оказалась единственной, где национальное единство в условиях испытания войной оказалось слабее социальных противоречий. Пресловутый Burgfrieden (“мир в крепости”) оказался тем, чего катастрофически не хватало Российской империи.

Показателен пример, приведенный Дж.Бьюкененом: в годы войны британцы оставили в 300-миллионной Индии вместо 75 всего 15 тыс. войск из метрополии, заменив остальные колониальными контингентами [8, с.324-325]. Существенных проблем это не создало. Более того, в составе британской армии насчитывалось 1,5 млн. солдат из Индии, свыше 80% из которых были добровольцами. Разумеется, со временем, с ростом жертв и лишений, первоначальный энтузиазм значительной части населения сошел на нет, однако стоит ли этому удивляться применительно к колонии, если тот же процесс наблюдался во всех метрополиях? Радикализации же протестного движения в этот период не произошло; все обошлось единичными эксцессами, не приобретшими сколько-то значительных масштабов.

Ярким контрастом к вышеописанной ситуации служат события на “российском востоке”, где одним из следствий войны стало резкое падение престижа Ак Падишаха – “Белого царя”. Этому

способствовали рост податей, реквизиции, а в особенности – распоряжение о мобилизации почти полумиллиона мусульман на тыловые работы в прифронтовой полосе. Результатом стало восстание, охватившее весь Степной край и Туркестан, а также часть Сибири и Кавказа (июль 1916 – январь 1917 гг.). И уж совсем неудобно напоминать, что к моменту победы большевиков, т. е. в 1920-21 гг., для контроля над большей частью территории Украины с ее 30 млн. населения здесь находилось около 1 млн. красноармейцев, в абсолютном большинстве не являвшихся местными уроженцами (стоит оговориться, впрочем, что боевые части составляли около половины этого числа).

Разумеется, для исследователя задним числом констатировать предсказуемость событий несложно; что же до современников, то их оценки зачастую были прямо противоположны. Так, еще за 8 недель до крушения царизма лидеры большевиков во главе с Владимиром Лениным не предполагали подобной возможности. Адмирал Тирпиц также полагал, что “в начале 1917 г. не было заметно еще ни одного внешнего признака русской революции” [53, с.440]. Другие не останавливались перед прогнозами на дальнюю перспективу: к примеру, в начале 1915 г. Винстон Черчилль писал Эдварду Грею: “Результаты этой войны не вызывают сомнений. Рано или поздно Германия будет разбита. Австрия распадется на компоненты. Англия всегда выигрывала битву именно в конце войны. Россия вообще непобедима. Англии нужна будет новая ориентация” [Цит. по: 62, с.136].

В то же время не было недостатка и в более мрачных (и, как окажется впоследствии, адекватных) оценках. Уже в конце 1914 г. Альфред Нокс (тогда еще полковник) задумывался о возможности распада России [60, с.121; 62, с.134]. В марте 1916 г. польские лидеры предсказывали Палеологу, что в этой войне, возможно, смогут победить Британия и Франция, но не Россия [42, с.477]. К апокалиптическим

прозрениям все чаще был склонен и сам французский посол. Отмечавшиеся им в феврале 1916 г. слабость России и симптомы распада ее политического и социального строя [42, с.459] не исчезли и к августу [42, с.558, 560]. Успех “брусилловского прорыва”, таким образом, не прибавил оптимизма проницательным западным наблюдателям. 16 ноября Джордж Бьюкенен сообщал в министерство иностранных дел, что в случае волнений возможен отказ армии воевать [8, с.184]. В феврале 1917 г. британская делегация на союзнической конференции в Петрограде и ее глава Альфред Мильнер смогли убедиться в обоснованности такой оценки и не выражали особого оптимизма по поводу возможностей России; эту точку зрения разделял и Дэвид Ллойд Джордж [62, с.152-153]. Еще более мрачно был настроен в это время (29 января 1917 г.) Палеолог [42, с.696]; 21 февраля он констатировал “банкротство” союзницы [42, с.714].

Пессимистов хватало и внутри России. Известный финансист и промышленник Алексей Путилов 2 июня 1915 г. предсказывал неизбежность революции [60, с.164]. В августе 1916 г. Павел Милюков поделился с норвежским королем Гаконем VII своими опасениями того, что возможные военные неудачи могут стать угрозой и для государственного строя [33, с.542, 545]. Не приходится удивляться, что возглавивший в ноябре 1916 г. совет министров Александр Трепов четко видел вероятность катастрофы [42, с.643]. Но, разумеется, чаще всего вспоминают о предсказаниях, содержащихся в записке, поданной бывшим министром внутренних дел Петром Дурново Николаю II еще в феврале 1914 г. [71, с.53-55]. Ее автор, сторонник немецкой ориентации политики России, предсказывал, что вероятным следствием войны станет “ослабление мирового консервативного начала”, воплощением которого являются Германия и Россия. Это создаст реальную угрозу революции, причем она, начавшись в побежденной стране, впоследствии перекинется и на

победительницу. (Считать ли это предсказание сбывшимся, зависит от того, кого в тандеме Германия – Россия считать в феврале 1917 г. победителем, а кого – побежденным).

В последнее время в России обрели популярность рассуждения Дурново, касающиеся Украины: “Только безумец, государь, может присоединить Галицию. Кто присоединит Галицию, потеряет Малороссию” [Цит. по: 37, с.16]. Впрочем, если уж касаться роли “украинского фактора” в крахе Российской империи, не меньше оснований обратиться к словам русского философа Василия Розанова, написанным им Петру Струве 6 февраля 1918 г. Одной из центральных проблем, занимавших его, была фигура Николая Гоголя. Розанов был убежден, что Гоголь не просто ненавидел Россию, но и способствовал ее гибели: дав, в противоположность Пушкину, начало пагубному, сатирическому направлению в русской литературе, Гоголь создал карикатуру России, превратив в анекдот русскую действительность. Русская революция и все, связанное с ней, вынудили Розанова признать свое поражение: “Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: “Ты победил, ужасный хохол!””. Впрочем, к Розанову мы еще вернемся.

Ярчайшим свидетельством внутренних проблем России и ее армии была массовая сдача в плен, отмечавшаяся уже начиная с 1915 г.: так, лишь с 1 мая по 1 ноября потери пленными составили 976 тыс. человек, тогда как убитыми – 423 тыс. [2, с.295, 297]. Это же соотношение наблюдается и при подведении итогов войны в целом. Общие российские потери убитыми и умершими от ран составили примерно 1,3 млн. человек; что же до сдавшихся в плен, то здесь расхождение достаточно велики: 2,5 млн., 3,3 млн. и даже 3,9 млн. человек. Однако даже при минимальной оценке эта цифра втрое превышает суммарные потери пленными армий Великобритании, Франции и



Германии и сравнима лишь с таковыми “лоскутной империи” Габсбургов (2,2 млн.). Соотношение взаимных потерь по пленным между Россией и Австро-Венгрией почти равное, а именно 1:1,16 в пользу России (1032 тыс. против 1194,1 тыс.). Что же до аналогичных показателей Германии и России, то на 98,1 тыс. пленных немецких солдат приходилось 1435 тыс. русских, т. е. 1:14,6 [48, с.16-17, 112]. Весьма красноречиво и следующее соотношение: на 100 убитых в британской армии приходилось 20 пленных, во французской – 24, в немецкой – 26, в российской – 300. Таким образом, русские солдаты сдавались в плен в 12-15 раз чаще [41, ч.2, с.92].

Подобная картина, безусловно, резко контрастирует со стереотипным образом русского солдата, получившим широкое распространение как в самой России, так и далеко за ее пределами, однако для современников и участников событий она была очевидным фактом [3, с.268]. Как тогда, так и (едва ли не в большей мере) в наше время нет недостатка в попытках объяснить и оправдать массовую сдачу в плен объективными причинами [40, *passim*], однако представляется, что последние не исчерпывают проблемы.

Другим грозным для российской армии симптомом деморализации было дезертирство, которое, вопреки распространенному мнению, стало серьезной проблемой задолго до Февральской революции. Уже 30 июля 1915 г. назначенный незадолго до этого военным министром Алексей Поливанов отмечал огромные масштабы этого явления [60, с.152]; по некоторым оценкам, к моменту падения монархии в России количество дезертиров приближалось к 1 млн. [41, ч.1, с.174-175]. Массовый характер дезертирства отмечался и иностранными наблюдателями, например, А.Ноксом [60, с.282]. Существует, впрочем, и альтернативная точка зрения, в соответствии с которой масштабы дезертирства в первые 2,5 года войны преувеличены [39, с.703]; часть

исследователей считает, что для уверенных суждений по этому поводу недостаточно данных [38, с.425-426].

Распространенным является мнение о том, что революция помешала России воспользоваться плодами победы, которая к тому времени якобы фактически была уже гарантирована. Мнение Черчилля по этому поводу уже было приведено в начале статьи; в конце 1916 г. он начал разрабатывать планы демобилизации британской армии и возвращения экономики к условиям мирного времени [15, с.134]. В целом оптимистично был настроен в начале следующего года и его соотечественник Нокс [19, с.67-68]. В России многие современники анализируемых событий также были уверены, что к началу 1917 г. их страна находилась у “порога победы” [39, с.763]. По оценке Г.Каткова, с августа 1915 г. до Февральской революции имело место постоянное усиление боеспособности российских вооруженных сил [19, с.164].

Одним из главных факторов, вселявших в наблюдателей подобную уверенность, было то, что армия России, едва ли не впервые с начала войны, не ощущала недостатка вооружений и боеприпасов. Так что многие не испытывали сомнений в успехе намеченного на март 1917 г. наступления российских войск. Такие настроения господствовали в Ставке [5, с.134, 193, 216, 243-244, 248, 261]; того же мнения придерживались генералы А.Брусилов и А.Деникин, причем первый называл сроком окончания войны август 1917 [15, с.134, 138]. Показательно, что подобное убеждение высказано и в манифесте Николая II об отречении [5, с.310]. Во многом схожие оценки высказывались и по другую сторону окопов. Так, Э.Людендорф был уверен, что весной 1917 г. Германию спасла прежде всего революция в России [27, с.136-138, 188-189, 198].

Достаточно распространены подобные представления и сейчас [40, с.317]. Более того, некоторые российские авторы берут на себя смелость утверждать, что к концу 1916

г. Россия уже могла самостоятельно выиграть войну, став в результате “главной сверхдержавой грядущего мироустройства” [35, с.88-89].

Безусловно, легко с уверенностью говорить о неминуемости победы над Германией уже после того, как она состоялась (причем в итоге – без России). В куда более сложной ситуации находились современники событий, что сказывалось на точности их прогнозов. Вспомним, что в августе 1915 г. в окружении начальника немецкого генштаба Эриха фон Фалькенгайна было распространено мнение, что Россия продержится не более чем до зимы [53, с.541]. Таким же (до ближайшей зимы) был запас прочности Австро-Венгрии по оценке, данной в начале апреля 1917 г. австрийским коллегой Фалькенгайна, Артуром Арцем фон Штрауссенбургом [27, с.200]. Более того, непосредственно накануне падения Германии (т. е. при полноценном участии США в войне) политические и военные лидеры Антанты – Винстон Черчилль, Дэвид Ллойд Джордж, Дуглас Хейг, Фердинанд Фош и др. – предполагали, что война завершится лишь в 1919, если не в 1920 г. [70, с.160; 2, с.328, 354; 60, с.586-587].

Теоретизированиям о неминуемости победы Антанты и решающей роли в этом России можно противопоставить, например, гипотезу, высказанную Дж.Уилер-Беннетом: “Если бы царский режим сумел подавить революцию, сепаратный мир с Германией был бы заключен практически немедленно и на любых условиях” [56, с.34]. Представляется, что степень верифицируемости и в том, и в другом случае одинаково ничтожна.

Надо сказать, что и в России, и в среде ее союзников не все разделяли уверенность в успехе. Так, несмотря на умеренный оптимизм, А.Брусилов в конце 1916 г. высказывал сомнения в возможности крупного наступления российской армии. Того же мнения придерживались во время Петроградской конференции в феврале 1917

г. его коллега В.Гурко и французский генерал Э.Кастельно [3, с.253-254, 260; 8, с.200; 42, с.701, 706, 713], а также Дж.Бьюкенен [8, с.203]. Невозможность наступления подчеркивал в октябре 1916 г. П.Врангель [60, с.267]. По мнению Б.Г.Лиддел Гарта, в ходе брусиловского прорыва российские вооруженные силы понесли потери, фактически предопределявшие их развал [23, с.206, 224].

Весьма показателен следующий факт. Уже через 10 дней после отречения Николая II новый верховный главнокомандующий Михаил Алексеев убеждал военного министра Александра Гучкова в невозможности ведения российской армией наступательных операций, предусмотренных решениями конференций союзников в Шантильи (ноябрь 1916) и Петрограде [33, с.593]. Правда, командующие фронтами отстаивали противоположное мнение, настаивая на начале наступления; впрочем, его скорое и бесславное завершение говорит само за себя, свидетельствуя, чья оценка ситуации была ближе к истине. Начавшееся 16-17 июня наступление сперва казалось многообещающим, однако уже через две недели (к 1-2 июля) потерпело окончательный провал. Неудачу не сумело предотвратить даже то, что русские имели 3-кратный перевес в живой силе, а на направлении главного удара – 6-кратный [2, с.319].

Само собой разумеется, беспримерный крах огромной империи, вступившей в войну на стороне будущих победителей, требовал поиска его причин. Как представляется, все возможные варианты ответов можно разделить на три группы. В первом случае основной причиной представляются действия партии большевиков, кульминацией которых стал ее приход к власти в октябре 1917 г. Во втором внимание сосредотачивается на Февральской революции как главном факторе краха армии и государства и соответственно на отрезке времени между



февралем и октябрем. Наконец, в третьем варианте отправной точкой является то, что причину и октябрьских, и тем более февральских событий, со всеми вытекающими последствиями, следует искать в предыдущий период.

То, что главная причина краха России состояла не только, а главное, не столько в действиях большевиков, было достаточно очевидно еще до их прихода к власти. А.Деникин 6 июля 1917 г. подчеркивал: “Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие, а большевики – лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма” [Цит. по: 2, с.321]. Сказанное подтверждается и тем, что, например, переброска немецких войск на Западный фронт уже шла полным ходом до Октябрьского переворота, не говоря уже о Брестском мире [2, с.336].

Как известно, одним из главных мотивов отстранения от власти Николая II было стремление к более успешному ведению и скорейшему победоносному окончанию войны. На это надеялись и западные союзники, считавшие, что следствием Февральской революции станут эффективные действия российской армии на фронтах. Наибольший оптимизм на этот счет был присущ начинающему дипломату, послу США Д.Фрэнсису, выражавшему наивную (как представляется сейчас) уверенность в том, что новая власть сможет полностью мобилизовать силы России для войны. Куда меньше иллюзий на этот счет питал его соотечественник Э.Хауз [58, с.157, 160]. Среди скептиков в особенности выделялся М.Палеолог, утверждавший, что главным результатом революции стало бессилие России [42, с.766-767].

По впечатлениям части наблюдателей, в первое время после февральских событий немедленное заключение мира еще не было популярным лозунгом в солдатских массах; такое утверждение, например, находим в воспоминаниях Н.Суханова [50, с.231-232,

291-293, 299]. Напротив, П.Милюков констатировал “усталость” масс от войны, ярко проявившуюся в это время. Таким образом, признавал он, Февральская революция, вопреки ожиданиям, отнюдь не повысила боеспособность российской армии [33, с.593]; по оценке А.Брусилова, революционные события стали основным фактором, предопределившим разложение последней [3, с.261-285]. В целом существует консенсус относительно того, что ключевую роль в этом развале сыграл “Приказ №1” от 1 (14) марта 1917 г. Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов [5, с.217-218; 71, с.216]. Одним из прямых следствий катастрофического падения дисциплины стал резкий рост числа сдавшихся в плен и дезертиров: так, по оценке генерала Н.Головина, к осени 1917 г. на 3 солдат действующей армии приходился 1 дезертир (всего – 2 млн.) [2, с.317]. В этих условиях 10 апреля 1917 г. Джордж Бьюкенен предположил, что даже переход к республике и федеративному устройству не сможет предотвратить распада России [8, с.240]. Одновременно с этим Эрих Людендорф констатировал, что опасности российского наступления более не существует.

Вполне естественно, что к числу наиболее дискутируемых проблем принадлежит вопрос об истоках Февральской революции. Достаточно распространен взгляд, в соответствии с которым она стала результатом стихийных процессов; его придерживался, в частности, Э.Карр [18, с.75]. С подобной точкой зрения был солидарен Н.Головин, считавший, что “мартовские события застали врасплох наши левые партии, так же, как и правые” [Цит. по: 2, с.314].

Одновременно сохраняется – а в наше время, по крайней мере, в самой России существенно растет – популярность “теорий заговора”, объясняющих февральские события кознями то ли Германии (по аналогии с ее позднейшим содействием большевикам), то ли западных союзников

России, прежде всего Британии. Этот феномен легко объясним с учетом “актуальности” сюжета ныне, в атмосфере поисков внутреннего врага – “национал-предателей”, прежде всего в лице либеральной оппозиции. Февральская революция порождает неустранимые аллюзии с “цветными революциями” – кошмаром сегодняшней российской власти. Поскольку же объяснение революционных событий внутренними факторами равнозначно признанию в слабости, востребованным становится поиск причин вовне.

Категорически не согласен был с тезисом о стихийности революции Г.Катков. По его убеждению, упомянутые события были делом рук либералов и “иностраных сил”. Под последними Катков подразумевал немцев, для которых, считал он, февральские события были не менее выгодны, нежели октябрьские [19, с.9-11, 86-140, 438, 441-447]. Историк полагал собранные им аргументы в пользу данного тезиса “прорывом” в изучении истории Февральской революции [19, с.11]. Весьма осторожно отзывался о возможной роли немецких “агентов” С.Ольденбург [39, с.707, 742]; в наше время не видит оснований утверждать о значительном влиянии на события со стороны Германии В.Никонов [38, с.388-389]. Упрощенным и игнорирующим глубинные внутренние причины революции считает подход Каткова к проблеме Р.Пайпс [41, ч.1, с.274].

Если обратиться к впечатлениям современников, то, по свидетельству В.Набокова, мнения о существенной роли немцев в инициировании революции придерживался П.Милюков [15, с.123; 35, с.121], тогда как сам он затруднялся решительно судить об этом [19, с.438]. Более категорично высказался в данном отношении начальник Петроградского охранного отделения К.Глобачев: “...я положительно утверждаю, что Германия никакого участия ни в перевороте, ни в подготовке его не принимала... Русская Февральская революция была делом русских

рук”. Что же до немцев, то их активность станет заметной уже после падения монархии [2, с.314; 38, с.388-389]. Сами немцы (устаами, к примеру, Э.Людендорфа) также отстаивали тезис, в соответствии с которым революция произошла лишь при второстепенной роли их страны [38, с.389].

В значительной мере готовность верить в широкие возможности Германии по дестабилизации России была порождена грандиозной шпиономанией, развернувшейся в годы войны. В той или иной степени этот феномен был характерен практически для всех стран (Мата Хари является здесь лишь наиболее ярким примером), причем далеко не всегда он соответствовал реальным масштабам угрозы. Однако именно в России истерия, охватившая общество, была особенно сильной [См.: 66; 2, с.305-315; 40, с.326-361]. В конечном счете ее последствия были фатальны не только для отдельных лиц (полковника С.Мясоедова, министров В.Сухомлинова и А.Протопопова, императрицы Александры Федоровны), но и для династии, монархии и Российской империи в целом. (Замечу, что преувеличенные представления о способности Германии влиять на российские события бытовали и на Западе. К примеру, Дж.Уилер-Беннет был уверен в будто бы намного лучшей осведомленности немцев, в сравнении с союзниками России, о реальной ситуации в стране [56, с.44]).

В связи с вышеизложенным уместно вспомнить слова Льва Троцкого относительно конспирологических теорий происхождения революции (правда, не Февральской, а Октябрьской): “Как утешительна историческая философия, согласно которой жизнь великой страны представляет собою игрушку в руках шпионской организации соседа” [55, с.256]. Эта саркастическая оценка представляется обоснованной. Действительно, исследователю зачастую трудно устоять перед соблазном стать вульгарным последователем Вильяма Оккама, склоняясь



к простейшему объяснению исторических фактов: если то или иное событие кому-либо выгодно, следовательно, оно является прямым результатом целенаправленных действий получателя выгоды. Однако в этом случае последнему приходится приписывать черты своеобразного мини-демиурга, обладающего – по крайней мере, в рассматриваемой сфере – всеведением, всемогуществом и даром предвидения. Разумеется, стать жертвой действий подобного актора, выступающего, словно *deus ex machina* или стихийное бедствие, не зазорно, чем и объясняется популярность подобных представлений в переживающих кризис обществах.

Не меньшую популярность обрело представление о том, что своим крушением “историческая Россия” обязана не проискам (в конечном счете проигравшей) Германии, а коварству западных держав, не желавших делиться со своей союзницей плодами неминуемой и скорой победы. Так считали не только в России. Так, генерал Людендорф был убежден в том, что Февральская революция была результатом действий партнеров империи Романовых по Антанте [27, с.188]. В Германии достаточно популярным было представление о британском после Дж.Бьюкенене как о “некоронованном короле России”; эта же мысль, уже после свержения Николая II, внушалась русским солдатам в немецких листовках [8, с.306]. Сам Бьюкенен, разумеется, отрицал какое бы то ни было свое содействие революции [8, с.226-235]. Напротив, он акцентировал внимание на своих неоднократных безуспешных попытках предостеречь императора и побудить его к некоторым компромиссам во внутренней политике (на аудиенциях в феврале и ноябре 1916 и в январе 1917 гг.) [8, с.166-167, 179-181, 191-198]. (Это разительно напоминает чрезвычайно распространенный в конфуцианстве сюжет “Добродетельный сановник увещевает неблагодарного правителя”, в особенности учитывая, что до окончания

срока действия “небесного мандата” Романовых оставались считанные месяцы, а затем – недели). М.Палеолог, как и многие русские, усматривал в приписываемой Бьюкенену роли параллель со стремлением представить душой заговора против Павла I тогдашнего британского посла в Петербурге Чарльза Витворта [42, с.659]; в непричастности своего коллеги к чему-либо подобному представитель Французской республики был твердо убежден [42, с.779].

Разумеется, само по себе отрицание собственной причастности не может освободить от подозрений. Однако и в России было немало тех, кто считал, что при всех возможных претензиях к союзникам обвинения в их содействии революции безосновательны. Уже упоминавшийся К.Глобачев, чья компетентность в данном вопросе вряд ли подлежит сомнению, положительно утверждал, что относительно западных держав во главе с Соединенным Королевством можно говорить максимум о сочувствии стремлениям либеральной русской общественности [38, с.399]. (Подобную точку зрения можно встретить и в современной российской историографии [38, с.561-562]). Сам придерживавшийся либеральных убеждений А.Бубнов не скрывал отсутствия особых симпатий к Великобритании (что неудивительно для моряка), в то же время признавая: элементарный здравый смысл не позволяет утверждать, что британцы желали краха России, так как это могло бы обернуться их собственным поражением [5, с.250-251]. “Малоправдоподобной” считал возможность того, что Британия действительно пошла на такой риск, и С.Ольденбург [39, с.707].

Один из вариантов гипотезы о том, что Февральская революция была спровоцирована “коварным Альбионом” (с участием других союзников или без такового), объявляет конечной целью этих действий гипотетическую консолидацию российского общества, более эффективную мобилизацию ресурсов империи и

ускорение разгрома Центральных держав. В действительности падение монархии имело прямо противоположный эффект, так что Э.Людендорф был вынужден признать, что Антанта просчиталась в своих планах [27, с.189, 196, 198]. Заметим, что победа западных держав над Германией и ее союзниками в конечном счете состоится не благодаря усилению России, а вопреки ее развалу и выходу из войны.

Если принять точку зрения, в соответствии с которой целью Британии являлось свержение царизма [15, с.129-134], то приходится констатировать, что достижение этой цели было никоим образом не тождественно замыслу крушения России с целью отстранения от плодов будущей победы. С одной стороны, крайне легкомысленно было бы не учитывать возможности того, что революционные события будут развиваться дальше, выйдя из-под контроля. С другой, если Антанта рассчитывала на более эффективное ведение Россией войны вследствие изменения государственного строя, каким образом возможно было добиться устранения этой усилившейся державы из числа победителей? Получается, тайные вдохновители революции были уверены в своей способности пройти, без преувеличения, по лезвию бритвы: оставить Россию достаточно сильной для содействия в окончательном триумфе над Центральными державами, но в то же время надлежаще ослабленной для последующего отстранения от дележа пресловутого “пирога”.

Создается устойчивое впечатление, что распространенные в России фобии относительно англосаксов неразрывно связаны с подсознательной иррациональной уверенностью в качественном интеллектуальном превосходстве последних. Действительно, прямое свидетельство этого находим в работах уже упоминавшегося А.Вандама: “Простая справедливость требует признания за всемирными завоевателями и нашими жизненными соперниками

англосаксами одного неоспоримого качества – никогда и ни в чем наш хваленый инстинкт не играет у них роли добродетельной Антигоны. Внимательно наблюдая жизнь человечества в ее целом и оценивая каждое событие по степени влияния его на их собственные дела, они неустанной работой мозга развивают в себе способность на огромном расстоянии во времени и пространстве видеть и почти осязать то, что людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой фантазией. В искусстве борьбы за жизнь, т. е. политике, эта способность дает им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком. Испещренная океанами, материками и островами земная поверхность является для них своего рода шахматной доской, а тщательно изученные в своих основных свойствах и в духовных качествах своих правителей народы – живыми фигурами и пешками, которыми они двигают с таким расчетом, что их противник, видящий в каждой стоящей перед ним пешке самостоятельного врага, в конце концов, теряется в недоумении, каким же образом и когда им был сделан роковой ход, приведший к проигрышу партии?” [9, с.43-44]. “Своими неизменными успехами над материком даровитые островитяне обязаны не каким-либо борющимся за них таинственным силам, а исключительно самим себе, т. е. своим большим и точным знаниям, определенной постановке целей и планомерному стремлению к последним. Превосходя во всем этом континентальные народы, они и обращаются с ними так, как знающие и сильные опытом мастера обращаются со своими знакомыми лишь с одной рутинной подчиненными” [9, с.183-184].

Во многом предвосхищая тезисы своих единомышленников, Вандам описывал “то принесенное в мир англосаксами искусство борьбы за жизнь, посредством которого новые завоеватели создают события и усеивают ими море жизни таким образом, что на этих подводных камнях терпят крушение одинаково и друзья, и враги



англосаксов” [9, с.83]. Неудивительно, что у части современных российских историков признание того, что “XX век стал, безусловно, веком англосаксов” [37, с.14-15, 19-20], сочетается с сетованиями по поводу краха Российской империи (как и впоследствии СССР) в результате не военного поражения, а иных факторов [37, с.15]: иными словами, психологически более комфортным для них было бы признание превосходства соперника в грубой силе, но не в интеллекте.

Каким же был реальный (а не гипотетический) ход событий в первые месяцы после Февральской революции? Есть весомые основания считать, что именно весной 1917 г. будущие победители оказались в наиболее критическом положении за всю войну, несмотря на вступление в нее США. Ни удар немцев в северной Франции в августе-сентябре 1914, ни отступление российской армии по всему фронту в 1915 г. не создавали большей угрозы для конечного исхода противостояния. Одним из ключевых факторов стал переход Германии к неограниченной подводной войне с 1 февраля 1917 г. Из-за этого, вкупе с финансовым истощением, Великобритания и Антанта в целом балансировали на грани катастрофы. В этом заключении были соидарны как Эдвард Хауз [1, т.2, с.6-9, 72-73], так и Эрих Людендорф и Альфред фон Тирпиц [27, с.189; 53, с.425]. В немногим менее угрожающем положении оказались западные державы и годом позже, когда, добившись мира на востоке, II Райх предпринял последнее наступление в надежде уже не на победу, а на приемлемые условия мира. Как уже было отмечено, даже за несколько месяцев до окончания войны лидеры стран Запада отнюдь не были уверены в успехе, тем более – близком. Разумеется, можно множить до бесконечности спекулятивные предположения о том, каков был бы ход (и исход) войны с сохранением участия в ней России, при вступлении США или без него.

Однако это занятие представляется малопродуктивным.

С учетом вышеизложенного, практически невероятно, что целью западных союзников были ослабление России и ее выход из войны. Так что вряд ли оправданны многочисленные попытки инкриминировать им некую имманентную русофобию (если, конечно, не ставить знак равенства между монархией и династией, с одной стороны, и нацией и государством – с другой). Теоретически, даже принимая пресловутую теорию заговора, можно было бы вести речь разве что о “монархофобии” и, как уже отмечалось, явной легкомысленности западных лидеров, не ожидавших того, насколько непрочно в действительности государственное здание России. (Этому, впрочем, не следовало бы удивляться: один из лидеров партии кадетов В.Маклаков признавал, что сами российские либералы не ждали столь быстрого и легкого падения монархии [42, с.791]). Не следует забывать и о четырехсотлетнем опыте британской политики, направленной на выявление потенциальных претендентов на всеевропейскую гегемонию и эффективное противодействие им путем поддержки слабейших. Есть ли основания предполагать, что на этот раз в Лондоне допустили ошибку и один из союзников, а именно Россия, усилился в ходе войны настолько, что начал вызывать большие опасения, нежели Германия? Правда, в этом случае никуда не деться от вопроса: как могла такая мощная держава рухнуть столь легко?

Поскольку трудно найти рациональное объяснение предполагаемой решимости западных держав пойти на смертельный риск в попытках превентивно ослабить своего союзника, предпринимаются попытки поиска более экзотических мотивов. К примеру, актором, сыгравшим решающую роль в свержении Романовых, называются не национальные правительства, а некие тайные общества Великобритании и США. Среди участников

возглавляемого ими глобального заговора фигурируют и члены династии, царская свита, либералы, старообрядческая оппозиция, генералитет [35, *passim*]. Главной же движущей силой объявлена “религиозно-мистическая и геополитическая доктрина сообщества, предусматривающая обязательное уничтожение православной самодержавной русской государственности” [35, с.107]. Впрочем, для дискуссии с подобной точкой зрения требуется иной уровень компетентности в сфере тайных знаний.

Итак, можно считать, что если не существует консенсуса по поводу причин Февральской революции, то наблюдается практически полное единение относительно ее фатальных последствий для России и, в частности, выбывания последней из числа победителей в I Мировой войне. Иной вопрос – могла ли революция не произойти? Почему царский режим рухнул с поразительной легкостью? Более того, почему революция ознаменовала собой не только крушение династии и монархии, но и начало разрушения Российского государства в его тогдашних границах? Как уже подчеркивалось выше, судьба России постигла и противников будущих победителей, но намного позднее, практически одновременно с окончанием войны (не говоря уж о случае Блистательной Порты). Однако уникальность российской катастрофы еще более показательна при других сравнениях, к которым отчего-то обращаются нечасто.

“Трудно найти в истории пример более откровенного политического бессилия и неумения осуществлять управление государством, чем деятельность Временного правительства” [56, с.35]. К этим словам британского историка нечего прибавить, и вряд ли кого-то удивляет то, что большевики сумели свергнуть эту бессильную власть, продержавшуюся всего несколько месяцев. Куда поразительнее, что последняя в свое время с не меньшей легкостью положила конец монархии в России, со всей стоящей

за ней многовековой исторической традицией; эту параллель провел уже Дж.Бьюкенен [8, с.309]. И впоследствии в русском лагере, противостоявшем советской власти, мало кто осмеливался открыто выдвигать лозунг реставрации Романовых, осознавая, что он способен не столько привлечь, сколько оттолкнуть колеблющихся; на это обстоятельство обоснованно указывает Дж.Хоскинг [68, с.91-92; 67, с.40-41, 47].

Любой автор, обращающийся к сюжету украинской революции 1917-21 гг., вынужден вполне обоснованно констатировать слабость и эфемерность сменявших друг друга украинских режимов – Центральной Рады, гетмана Павла Скоропадского, Директории, а на западе – ЗУНР. Однако легкость и стремительность краха монархии Романовых выделяется даже на их фоне. Общеизвестно, что одной из фундаментальных причин тогдашнего поражения сторонников украинской независимости была нерешенность ими аграрного вопроса. Но не так хорошо известно, что начальник российского генерального штаба Н.Янушкевич обращался к Николаю II с призывом пообещать солдатам землю, чтобы поднять боевой дух армии [60, с.141]. Можно ли найти более яркое свидетельство признания государством собственной слабости?

Один из лидеров белых А.Деникин пренебрежительно заявлял, что “на тощей почве украинского неопатриотизма нельзя строить ни народного воодушевления, ни народной армии”, и настаивал на “полном отсутствии национального момента в идее борьбы” своих противников [16, с.168-169]. Однако, по его же собственным воспоминаниям, белое движение вначале – достаточно продолжительное время – отличалось весьма скромными масштабами: к нему примыкали немногие офицеры, юнкера, кадеты... Трудно удержаться от аналогии с составом участников битвы под Крутами – пресловутых “украинских Фермопил”. А ведь мобилизационный



потенциал украинской национальной идеи в то время априори явно уступал потенциалу лозунга “единой неделимой России”, хотя бы с учетом того, что условия развития первой в Надднепрянской Украине – даже после 1905 г. – трудно сравнивать с таковыми, скажем, в Ирландии и Индии (или Чехии и Хорватии). Исход “русской смуты” убедительно продемонстрировал, что и почва традиционного русского патриотизма, даже удобряемая предоставляемыми Антантой деньгами и оружием, оказалась ненамного тучнее.

Россия была далеко не единственной страной, где тяготы войны вызвали массовое недовольство, перераставшее в открытые волнения на фронте и в тылу. Так, в январе 1918 г. масштабные, хотя и кратковременные волнения и забастовки произошли в Берлине, Гамбурге, Вене и других городах Германии и Австро-Венгрии. Лето 1917 г. было отмечено выступлениями на германском ВМФ в Киле [27, с.236]. Не лишены были подобных проблем и будущие победители. Так, в результате провала “наступления Нивелля” в мае 1917 г. мятежами были охвачены 16 корпусов французской армии. Впрочем, беспорядки удалось пресечь относительно малой ценой (по разным оценкам, всего лишь от 23 до 55 расстрелов) [23, с.303-304; 52, с.195]. В том же году резко (до 21 тыс. человек) возросло количество дезертиров. Не все спокойно было и в Италии. Наконец, можно вспомнить о “Пасхальном восстании” 1916 г. в Дублине.

Все перечисленные случаи, однако, коренным образом отличались от российского. Эту разницу Р.Пайпс охарактеризовал следующим образом: “...бунт, который французское правительство сумело долгое время держать в тайне, был подавлен и ни в коей мере не угрожал гибелью государству – весьма показательный пример национальной и политической крепости Франции в сравнении с Россией” [41, ч.1, с.313, прим.]. Указанное отличие признавалось и

российскими современниками событий [5, с.218-219].

Последнему российскому императору пришлось столкнуться с тотальной изменой армии, в том числе и офицерского корпуса, и генералитета. (Часто упускают из виду, что наиболее известные защитники “белого дела” отнюдь не были монархистами, а, напротив, приветствовали, если не приближали, Февральскую революцию и зачастую были обязаны ей последующей карьерой). Это дало А.Бубнову основание для сравнения судеб Николая II и Наполеона I [5, с.209]. Уничтожающие характеристики данного явления дал Э.Людендорф: “Российское общество и его вооруженные силы насквозь прогнили, иначе революция была бы невозможна”; “...армия не может долго сохранять здоровье, если страна больна” [27, с.188, 270]. Авторитетность этим высказываниям придает уже то, что их автор был свидетелем аналогичного краха собственной армии.

Коллега Бубнова по службе в ставке В.Пронин считал, что падение монархии не было predetermined, так как в Петрограде, по его мнению, можно было найти надежные войска [5, с.307]. Впрочем, доверие к этому утверждению подрывают описанные тем же автором выразительные сцены (также с обращением к французским параллелям, но уже иным): “Георгиевский батальон в полном составе с музыкой впереди, направляясь в город, проходил мимо штаба. ... Государь, стоя у окна, мог наблюдать, как лучшие солдаты армии, герои из героев, имеющие не менее двух Георгиевских крестов, так недавно составлявшие надежную охрану императора, демонстративно шествуют мимо окон его, проявляя свою радость по случаю свержения императора. ... Нечто в том же духе сделал и “конвой его величества”. Начальник конвоя ген. граф Граббе явился к ген. Алексееву с просьбой разрешить снять вензеля и переименовать “конвой его величества” в “конвой Ставки верховного главнокомандующего”. И вспомнились мне

швейцарцы, наемная гвардия Людовика XVI, вся до единого солдата погибшая, защищая короля...” [5, с.290-291]. Те же аналогии возникли у М.Палеолога [42, с.741]. По мнению Дж.Хоскинга, “ситуация была совершенно не похожа на Францию времен революции 1789 г., когда множество людей были готовы взять в руки оружие, чтобы защищать монархию, что и привело в 1815 г. к появлению на троне Людовика XVIII. В России на месте царя образовался вакуум” [67, с.40-41].

Представляется обоснованным мнение, в соответствии с которым Февральская революция лишь завершила развал армии, очевидный уже к началу 1917 г. [2, с.315]. Это мнение разделял А.Брусиллов, считавший, что к этому времени войска были готовы к революции [3, с.269]; Э.Людендорф подтверждал, что на тот момент уже началась переброска наиболее боеспособных частей германской армии с Восточного фронта на Западный [27, с.188].

Не подлежит сомнению, что в февральских событиях 1917 г. прежде всего ощущался дефицит воли к подавлению революции (если, конечно, не считать, что в пресловутый глобальный заговор были вовлечены практически все, от генерал-адъютантов до поручиков и прапорщиков). Это, впрочем, можно было предвидеть: о слабой и нерешительной борьбе “паралитиков власти” с “эпилептиками революции” говорил уже двумя годами ранее министр юстиции И.Щегловитов. Поэтому представляется, что разрозненные попытки взять под контроль ситуацию в столице, например, действия полковника А.Кутепова и экспедиция генерала Н.Иванова (если исходить из того, что последний действительно намеревался выполнить полученный приказ), были так же обречены на фиаско, как позже – выступление генерала А.Крымова в ходе корниловского мятежа.

Б.Г.Лиддел Гарт отмечал, что, по свидетельствам немецких генералов, одним из главных факторов, удерживавших их от

выступления против Гитлера, была уверенность в том, что подобные действия не найдут поддержки в армии [22, с.109-110, 133-134]. В России же очевидным образом сложилась противоположная ситуация, когда даже сохранявшие лояльность к власти избегали открытых проявлений этого, видимо, осознавая собственную маргинальность и бессилие. На первый взгляд кажется парадоксальным, что либерально-демократические режимы Великобритании и Франции (а также Германия, по степени авторитарности все же уступавшая России) проявили во время Великой войны значительно более твердую волю и жесткость – а порой и жестокость – в подавлении выступлений, представлявших опасность для государства. В действительности никакого противоречия здесь нет: масштабы происходящего были несравнимы с российскими, а главное, власти были уверены, что их действия найдут поддержку если не всего общества, то его подавляющего большинства. (В этом же, по моему глубокому убеждению, коренится объяснение различной степени решительности действий власти, существовавшей в Украине до конца февраля 2014 г., и пришедшей ей на смену).

Как уже отмечалось выше, не подлежит сомнению слабость большинства национальных движений начала XX века в империи Романовых (за исключением разве что польского и финского); то же относится и к российским либералам. Однако многие исследователи, справедливо подчеркивая это, упускают из вида немаловажное обстоятельство. Суть дела состоит не в том, что против царской власти выступили немногие, а в том, что на ее защиту не встал практически никто. С.Мельгунов констатировал по этому поводу: “Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда зависит не столько от силы взрыва, сколько от слабости сопротивления” [Цит. по: 38, с.18].

Представляется вполне обоснованным распространённое сравнение Российской



империи в последний период ее существования с ослабленным организмом, лишенным иммунитета. Следовательно, крах старого режима был предопределен его внутренней слабостью и разложением [56, с.28]. С этим выводом британского историка солидарны многие его российские коллеги. Так, А.Уткин, признавая наличие в тогдашней России “колоссальных внутренних изъянов” [60, с.64], писал: “Тем, кто, как Черчилль, считает, что царский режим был свергнут в тот самый час, когда стоял накануне победы, рекомендуется прочитать конфиденциальный отчет лорда Мильнера. ... Падение царя было буквально молниеносным. Как это могло произойти, не вызвав немедленно бури? Только одно объяснение выдерживает критику: это означает, что многие тысячи, если не миллионы подданных русского царя, задолго до того как монарх был вынужден покинуть трон, пришли к внутреннему для себя заключению, что царское правление не соответствует текущим требованиям” [60, с.295; 62, с.153]. В художественной форме сказанное отражено в строках Булата Окуджавы: “Вселенский опыт говорит, / Что погибают царства / Не оттого, что труден быт / Или страшны мытарства... / А погибают оттого, / И тем больней, чем дольше, / Что люди царства своего / Не уважают больше...”.

Р.Пайпс отмечал: “Февральскую революцию от других революционных переворотов отличало множество особенностей. Но самой поразительной чертой была скорость, с которой рухнуло Российское государство. Так, словно величайшая в мире империя, занимавшая одну шестую часть суши, была каким-то искусственным сооружением, не имеющим органического единства, а вроде бы стянутым веревками, концы которых держит монарх в своей руке. И когда монарх ушел, скрепы сломались и все сооружение рассыпалось в прах” [41, ч.1, с.366]. Тем же, кто обвинит этого автора в русофобии, стоит припомнить размышления на ту же тему

В.Розанова: “Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три. Даже “Новое время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая “великого переселения народов”... Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Станным образом – буквально ничего. Остался подлый народ...” [Цит. по: 41, ч.1, с.366-367].

Крах Российской империи действительно был во многих отношениях беспримерен. (Стоит уточнить лишь: во всемирной истории, но не в истории самой России). Естественно, что для многих ее приверженцев анализ причин катастрофы был чрезвычайно болезненным, поскольку подвергались серьезным испытаниям сами основы их мировоззрения. Неудивительно, что среди объяснений падения династии называются подчас такие экзотические, как “трехопадение всего народа” [35, с.620].

В свое время Морис Палеолог, демонстрируя завидную прозорливость, предсказал, что крах царизма обернется и катастрофой для Российского государства [42, с.717-718, 737, 798, 825]. Наблюдалась, таким образом, парадоксальная ситуация: помимо монархии, ничто иное не могло послужить пресловутыми скрепами, удерживавшими Россию от распада, но при этом сами скрепы были уже нежизнеспособны, что и выявилось при первом же испытании, когда никто не пожелал защищать монархию и династию. (В действительности подобные парадоксы не так уж и редки. Напомню пример из недавней отечественной истории. На президентских выборах 1999 г. было очевидно, что даже без использования властью административного ресурса шансы лидера коммунистов П.Симоненко на победу во втором туре практически равны нулю, поскольку этот кандидат абсолютно неприемлем для значительно большего

количества избирателей, нежели Л.Кучма. В то же время весомый шанс переиграть действующего главу государства в очном противостоянии имел А.Мороз, но при этом ограниченность "ядерного" электората не позволяла ему надеяться на попадание во второй тур выборов).

Останавливаясь на конкретных причинах, приведших к фиаско Российской империи в I Мировой войне, участники событий и позднейшие исследователи нередко обращались к частным проблемам. Так, роковым для российской армии, по мнению многих, стало смещение с поста верховного главнокомандующего Николая Николаевича (август 1915 г.) и его замена Николаем II. Высоко оценивая полководческие качества великого князя и отрицая наличие таковых у царя, А.Бубнов оправдывал неудачи первого тем, что его свобода действий была ограничена [5, с.12-14, 29-30, 41]; отставку Николая Николаевича он считал "пагубным решением" [5, с.102-105]. Со своим коллегой были солидарны генералы В.Гурко и А.Брусилов [3, с.65-67, 174-175, 229, 233, 238, 246-247, 252, 268]. Нетрудно заметить, что эти оценки исходят от лиц, симпатизировавших либеральным кругам и соответственно неблагоприятно к последнему Романову. Однако, как известно, против намерений Николая II высказались и почти все министры (т. н. "стачка министров"). Что же до высоких оценок Николая Николаевича как стратега, то они исходили и от иностранцев, причем из обоих лагерей: Э.Людендорфа [27, с.50, 65, 82], А. фон Тирпица [53, с.542], В.Черчилля [60, с.576]. Отстранение великого князя от командования побудило М.Палеолога к предположению, что революция в России становится возможна еще до окончания войны [42, с.357-358].

Естественно, в среде монархистов и антилибералов, усматривающих в Николае Николаевиче "масона, франкофила и покорного исполнителя воли союзного командования" [40, с.178], оценки прямо противоположны. Ответственность за

нехватку вооружений и боеприпасов, катастрофу 1915 г. и иные проблемы возлагаются всецело на великого князя; замена же его Николаем II вела к неминуемой победе, не состоявшейся вследствие недостаточной помощи со стороны западных союзников, заговора той или иной степени глобальности и т. п. Показательно, что настоящий ренессанс подобных взглядов, в основу которых положена откровенная апология последнего российского монарха, наблюдается в современной российской историографии [См., напр.: 35; 7].

Достаточно распространено представление о том, что основные причины краха России объективны и могут быть обнаружены прежде всего в материальной сфере. Такую точку зрения отстаивал, например, А.Уткин [60, с.436]. Ее обоснованию в значительной мере посвящена претендующая на новаторство работа В.Галина (впрочем, примечателен тот факт, что данное исследование более чем наполовину составлено из прямых цитат). Им предложено такое понятие, как "мобилизационная нагрузка" [15, с.133, 340-353]. Используя такие показатели, как возрастной состав населения, производительность труда, эффективность экономики в целом, вплоть до т. н. "20%-ного климатическо-географического налога", автор попытался доказать, что главной причиной постигшей империю катастрофы явилась перегрузка, вызванная экономической отсталостью, которую не пожелали помочь компенсировать западные союзники России.

Без сомнения, все указанные факторы имели место, однако характерно, что попытки учесть объективные обстоятельства (к примеру, те же природно-климатические условия и размеры территории) при объяснении поражений, которые потерпели в России Наполеон и Гитлер, редко встречают понимание и отклик как в российском научном сообществе, так и в массовом сознании. Напрашивается



следующая аналогия. Ни для кого не секрет, что в ряде эпизодов истории Англии (а затем Великобритании) ей приходил на помощь такой естественный фактор, как островное положение. Не стали исключением и оба мировых конфликта. При этом редко задаются вопросом: неужели пересечь пролив труднее в одну сторону, нежели в другую? И почему Ла-Манш не преградил в свое время путь ни римлянам, ни англам, саксам и ютам, ни данам, ни нормандцам, ни даже голландскому экспедиционному корпусу Вильгельма Оранского – будущего Вильяма III?

Действительно, материальная и технологическая слабость России в сравнении с основными участниками войны не вызывает сомнений [2, с.215-272]. С другой стороны, если в 1915 или 1916 гг. могли еще существовать иллюзии относительно того, что единственным препятствием на пути российских побед является лишь нехватка оружия и боеприпасов, то события начала 1917 убедительно опровергли это.

Вполне ожидаемо, что либерально настроенные современники описываемых событий придерживались отличной точки зрения. По мнению А.Бубнова, тяготы войны и вообще внешние причины (в том числе и “странности”, находимые им в поведении Великобритании относительно России) второстепенны; главным же образом к катастрофе и поражению привела революция, вызванная “пагубной внутренней политикой” власти и недовольством народных масс [5, с.12, 118-120, 194-198, 201, 203, 212-213, 219-220, 244-245, 247-248, 250]. Мнение о “пагубной внутренней политике” царского режима разделяли А.Брусилов, Дж.Бьюкенен и др. [3, с.75-76, 243, 253-254, 256-257; 8, с.23, 159, 162, 166-167, 174-175, 187, 189-190, 216].

Представляется, что поражение России наиболее адекватно объясняется действием человеческого фактора [2, с.283-300]. Встречающиеся порой утверждения о сохранении российской армией боевого

духа не слишком убедительны. Высказывавшимся подобным образом представителям западных союзников – генералам А.Ноксу, Э.Кастельно – это, как уже отмечалось, не придавало большого оптимизма; что же до российских авторов (С.Ольденбурга, Г.Каткова), то такая точка зрения высказывалась ими задолго после описываемых событий [19, с.67-68; 42, с.713; 39, с.703]. Главным же, безусловно, является то, что реальный ход событий неопровержимо подтвердил правоту пессимистов.

Последних, констатировавших катастрофическую утрату войсками боевого духа, было немало, прежде всего среди профессиональных военных. Уже в 1916 г. Н.Головин признавал “надлом духа в стране”; В.Пронин, наблюдая в начале следующего года давно ожидавшееся изобилие материальных средств, отмечал его несоответствие моральному состоянию армии [5, с.260]. Особенно разительным выглядел контраст последнего с энтузиазмом, охватившим российское общество в первые недели и месяцы войны. Это отмечал Дж. Бьюкенен [8, с.23]; П.Милюков и С.Ольденбург уточняли, впрочем, что и в 1914 г. подъем духа в основном не затронул низы (а следовательно, преобладающую часть) населения России [33, с.481-482; 39, с.620]. Факт “моральной неустойчивости”, упадка духа российской армии принимается как аксиома в ряде исследований [23, с.48-49, 226, 307; 56, с.20; 57, с.18]. (Одновременно, по крайней мере, часть российских исследователей признает стойкость, несмотря на чудовищные потери, армий Германии и западных союзников России [60, с.253]).

Чем же объясняется подобная неустойчивость? Р.Пайпс указывает прежде всего на недостаточное развитие в российском обществе национального, государственного чувства, сознательного патриотизма [41, ч.1, с.102, 230, 351, ч.2, с.81, 229; 33, с.481-482]. Причиной этого он полагает слабость и низкую эффективность

идеологического воздействия на массы, прежде всего на крестьянство. Лояльности же династии и лично Николаю II и его семье в условиях тотальной войны оказалось недостаточно.

Примечательно, что оценки, чрезвычайно созвучные приведенной, давались и намного ранее. А.Брусилов сетовал на отсутствие “подготовки умов народа к войне” и слабый патриотизм, вследствие чего большинство солдат попросту не имело представления о том, за что воюет [3, с.72-76, 265]. (Любопытная параллель: проезжая по Галичине и отмечая низкий уровень культуры местного гуцульского населения, Э.Людендорф также высказал сомнение в надлежащем понимании ими целей войны [27, с.63]). Подобный взгляд был весьма распространен среди коллег генерала [5, с.219, 253-254, 260-261]; разделял его и британский посол [8, с.250-251]. Данный факт признают, с оговорками или без них, многие современные российские историки [15, с.115; 71, с.215, 217, 235; 38, с.424; 2, с.295, 299-300; 40, с.67, 139, 143 и др.].

Представляется, что предложенное объяснение весьма близко к истине. Действительно, пропаганда среди полуграмотных крестьян в солдатских шинелях малодейственна. Не случайно появление тоталитарных режимов (по определению невозможное без мобилизации масс) стало феноменом XX века, принесшего с собой массовую грамотность. Следует лишь уточнить, что этих же крестьян чуть позже удалось чрезвычайно успешно и быстро распропагандировать, убедив бросить окопы и отправляться делить помещичью землю. Действенность пропаганды, видимо, все же далеко не в последнюю очередь определялась ее содержанием.

Прежде чем продолжить изложение, необходимо объяснить выбор названия данной статьи. Он имеет два источника. Первый очевиден: событиями Великой войны Российская империя была взвешена,

подобно Валтасару в библейском предании, найдена слишком легкой и разделена [Дан. 5:26-28]. Действительно, как показано выше, легкость, с которой произошло крушение России, была беспрецедентна. Что же до отсылки к названию романа Милана Кундеры, то следует напомнить, что именно чешский писатель имел в виду. По его мнению, бытие полно невыносимой легкости, поскольку каждый из нас живет всего один раз (Einmal ist Keinmal: “единожды – все равно, что никогда”, или “один раз не считается”). Общеизвестна и иная формула: в одну и ту же реку можно войти лишь раз. Так или иначе, ключевая мысль сводится к уникальности любого субъекта, объекта, события или процесса: все происходит лишь один раз. Впрочем, для историка, мало-мальски рефлексующего по поводу собственного ремесла, здесь нет ничего нового (почему и бесперспективны поиски законов исторического развития, а выделение отдельных закономерностей, как правило, сводится к констатации банальностей).

Данная проблема затронута не случайно. Широко распространено представление, в соответствии с которым крах империи Романовых был качественно отличен от подобных катастроф, постигших державы Габсбургов и Османов. Случай II Райха оставляю в стороне, поскольку, вопреки мнению А.Миллера, нахожу больше оснований считать данное образование не империей, а национальным государством, пусть и весьма своеобразным. Собственно, это подтверждается уже тем, что Германия после поражения не подверглась (само)распаду.

Упомянутое отличие многие усматривают в том неоспоримом факте, что уже спустя несколько лет основная часть бывших территорий Российского государства была вновь собрана воедино под властью большевиков, тогда как с владениями других неудачников Великой войны – Австро-Венгрии и Османской империи – ничего подобного не произошло.



Правда, уже здесь следует оговориться, что необратимость дезинтеграции последних гарантировалась, помимо прочего, решениями победителей в войне. И даже в этом случае туркам удалось весьма существенно “скорректировать” границы своего национального государства, сравнительно с первоначальными планами союзников. Что же касается территорий, находившихся ранее под суверенитетом России, то непосредственное вмешательство Антанты в определение их судеб не следует преувеличивать. Еще важнее то, что помощь со стороны последней адресовалась в подавляющем большинстве случаев силам, соперничавшим с большевиками в деле реинтеграции бывших частей империи, а отнюдь не выступавшим за сохранение суверенитета новообразованных государств. Окажись победителем в войне Германия, “собрание” земель вокруг Москвы могло оказаться куда проблематичнее.

Так или иначе, в реальном – а не альтернативном – прошлом после победы в гражданской войне границы территории, контролируемой большевиками, преимущественно совпадали с довоенной территорией империи Романовых. Естественно, возникал соблазн интерпретировать этот факт как проявление некоей закономерности (вне зависимости от положительной или отрицательной оценки последней). Один из вариантов – утверждение, что распад России являлся исторической случайностью, вызванной неблагоприятными, прежде всего внешними, обстоятельствами, и потому был вскоре преодолен. По сути, не слишком отлично и иное представление, весьма популярное в отечественной историографии последних десятилетий. В соответствии с ним, государство (формально до образования СССР – государства), созданное большевиками, являлось несколько видоизмененным вариантом, “вторым изданием” Российской империи.

Но можно ли, в самом деле, считать, что Ленин и его соратники – более или менее сознательно – приняли на себя роль восстановителей единства “исторической России”, что впоследствии ставили им в заслугу деятели евразийского движения, да и далеко не только они [См., напр.: 70, с.170]. (Это напоминает распространенный сюжет, в котором герой, одержавший победу над драконом, сам превращается в поверженного противника). Общеизвестно, что долгое время большевики проявляли весьма слабый интерес к национальным проблемам (на их взгляд, второстепенным), воспринимая соответствующие теоретические наработки австромарксизма с изрядным скептицизмом. Безусловно, они и позднее не согласились бы с А.Безансоном, полагавшим, что Российская империя, в принципе, вполне могла решить свои политические, социальные и экономические проблемы; исключение составлял лишь национальный вопрос. Однако после революции большевикам пришлось существенно пересмотреть свои взгляды: оказалось, что отсутствие четкой позиции по данному вопросу существенно снижает шансы в развернувшейся борьбе за власть.

Многие отечественные исследователи считают, что поддержка большевиками права наций на самоопределение была неискренней и представляла собой исключительно дань текущему моменту. Полагаю, несмотря на весомую долю великороссов в партии (в сравнении, например, с меньшевиками), нет оснований говорить о каких-либо весомых уступках их национализму вплоть до начала 30-х гг. Речь идет скорее о том, что национальный вопрос, с точки зрения руководителей ленинской партии, был далеко не самым принципиальным и допускал значительное пространство для компромиссов.

Неоспоримым фактом является то, что вначале власть большевиков установилась преимущественно в центральных великорусских областях: создавалось

впечатление "ужимания" Российской империи до Великого княжества Московского. Не останавливаясь на специальном анализе данной проблемы, считаю бесспорным факт "созвучности" многих аспектов большевизма великорусскому менталитету. Дж.Кеннан остроумно заметил по этому поводу: "Нельзя назвать случайным совпадением то, что марксизм, в течение полувека безрезультатно блуждавший по Западной Европе, задержался и впервые пустил свои корни именно в России" [74]. Но, повторяюсь, можно ли считать борьбу красных с белыми соперничеством между двумя вариантами реинтеграции России?

В лагере Антанты не вызывали сомнения патриотические чувства противников большевиков. Однако ряд британских и (в меньшей степени) американских политиков еще весной 1918 г. рассматривал как один из вариантов помощи "русскому национальному возрождению" иностранную интервенцию, которая была бы осуществлена с согласия большевистского руководства [1, т.2, с.247-282]. В.Черчилль определял именно белых как "русское патриотическое движение" [70, с.167]. Не существовало единого мнения по данному вопросу и в Германии. Статс-секретарь (министр) иностранных дел адмирал Пауль фон Гинце и лидер национал-либералов Густав Штресеман, возражая своим оппонентам Эриху Людендорфу и Карлу Гельфериху (на недолгое время сменившему убитого в Москве В. фон Мирбаха), желавшим сближения с антибольшевистскими силами, указывали, что те будут настаивать на реставрации довоенных границ России [27, с.289-290; 60, с.576].

Как известно, многие деятели белого движения не скупились на упреки по адресу союзников в недостаточной, по их мнению, помощи со стороны последних. Действительно, на всех этапах развития событий среди западных политиков не было единства по поводу целесообразности (или

масштабов) интервенции. Последовательно выступал за непримиримую борьбу против большевиков Черчилль, считавший необходимой отправку с этой целью до 30 британских дивизий. Активную поддержку белогвардейцев отстаивал и Бьюкенен, полагавший, что, "если бы цель этого предприятия была достигнута, то деньги, которых оно стоило бы, оказались бы помещенными в хорошее дело" [8, с.333-335]. К сторонникам интервенции принадлежали и генерал Нокс, и госсекретарь США Р.Лансинг [58, с.169-170, 181; 60, с.420-421].

Противником подобных действий был Э.Хауз, уверенный, что отсутствие боевого духа в любом случае не позволит воссоздать Восточный фронт против Центральных держав [1, т.2, с.248-249; 57, с.217]. Изначально скептически настроенный относительно подобных планов, Ллойд Джордж позже принял точку зрения Черчилля. Однако к концу 1919 г. он отошел от поддержки белых; это же касается и Бальфура, и сменившего последнего на посту главы внешнеполитического ведомства Джорджа Керзона. Провал интервенции признавал и Бьюкенен, отмечавший, что "затраченные на нее деньги были выброшены на ветер".

В чем же причина поражения белого движения? Представляется обоснованным утверждение, что оно, по сути, не сумело предложить потенциальным сторонникам ни одного четкого лозунга, за исключением пресловутой "единой, неделимой России" [67, с.48; 2, с.340, 342]. Изначально располагая рядом весомых преимуществ, в сравнении со сторонниками украинского и других национальных движений, русские белогвардейцы в конечном счете оказались практически столь же бессильны в противостоянии большевикам. Осознание этого факта и побудило западных политиков отказаться от ставки на заведомо проигрышную карту.

Но, возможно, для Ленина и его соратников, как и для белых, единство России



также представлялось первостепенной ценностью? В этом случае логичным было бы ожидать от них вполне определенной ориентации на Антанту, также долгое время отвергавшую возможность дезинтеграции России и не шедшую на контакты с “сепаратистами” даже после прихода большевиков к власти [60, с.360, 470-471, 473-475, 512, 514-515]. Конечно, приверженцы “теории заговора” могут припомнить, что еще в самом начале войны Черчилль открыто заявил: “Нам эта война нужна для того, чтобы реформировать географию Европы в соответствии с национальным принципом” [Цит. по: 62, с.137]. Несомненно, однако, что речь шла о противниках, но отнюдь не союзниках Великобритании.

Бьюкенен предположил, что “ряды Красной армии усилило опасение того, что союзники намерены расчленить Россию, а не интервенция” [8, с.334-335]. Представляется, что в целом пронизательный наблюдатель в этом случае был неправ. Большевиками руководила иная мотивация: они опасались ослабления плацдарма мировой революции вследствие потери хлеба, угля, металла Украины, нефти Баку и т. п. Более адекватным представляется мнение Палеолога, полагавшего, что “революция была самым губительным ударом, какой можно было нанести русскому национализму”, а “сепаратизм” – наиболее опасным ее последствием [42, с.717-718, 737, 777-778, 780, 798, 825]. Единственными последовательными сторонниками единства России были как раз проигравшие, т. е. белые.

Одной из ключевых причин победы большевиков в гражданской войне в России стало умелое сочетание социальной демагогии и уступок в национальной сфере. В этих условиях именно “марксистский космополитизм”, а отнюдь не традиционный российский патриотизм, убедительно продемонстрировал свой мобилизационный потенциал. Не было случайным и то, что за пределами бывшей Российской империи

успехи большевиков и их союзников оказались эфемерны. “Диктатура пролетариата” имела шансы установиться лишь на тех территориях, где, в силу ряда причин, были слишком слабы современные национализмы, что и позволило “растворить” здешние социумы идеологической кислотой социальной пропаганды. (Дж.Кеннан подчеркивал в своей знаменитой “длинной телеграмме”: “Мировой коммунизм подобен болезнетворному паразиту, который питается только пораженными тканями” [74]). Во многом прав был Е.Гайдар, расценивавший восстановление большевиками рассыпавшейся Российской империи как “уникальное стечение обстоятельств” [14, с.69]; стоит лишь уточнить, что в российских условиях успех большевиков был как раз неудивителен.

Безусловно, яркую метафору представляет собой интерпретация феномена Советского Союза как “замороженной” на 70 лет Российской империи (горбачевская “перестройка” в данном случае играет роль оттепели, возобновляющей процесс разложения). Но вряд ли подобное понимание верно. Нет оснований считать СССР “вторым изданием” Российской империи; скорее можно вести речь о внешнем (в данном случае – по признаку линии границ), а не сущностном сходстве. В биологии это явление называется конвергенцией: примером может служить внешнее подобие обитающих в одинаковых условиях акулы, ихтиозавра и дельфина. Так что точнее будет считать, что реализация советской властью принципа “пролетарского интернационализма” (вкуче с репрессивной политикой и рядом других факторов) надолго “заморозила” национальные проблемы, но не саму империю.

Некоторые (прежде всего российские) авторы видят причины легкого разрушения Российской империи в 1917 и Советского Союза в 1991 гг. “в отчуждении между государством и русским народом, в

равнодушии наиболее многочисленного народа к судьбе “империи”, утрачивающей способность к выражению и защите его национальных интересов и ценностей” (А.Вдовин) [11, с.3]. При всем внешнем правдоподобии этого тезиса, он далеко не бесспорен. Необходимо помнить о том, что национализм, в его современной форме, фундаментально несовместим с принципом династической легитимности, а следовательно, губителен для традиционной монархии [66, с.303; ср.: 32, с.10, 35, 152-153]. Причем это относится и к немецкому (или венгерскому) национализму по отношению к Габсбургам, и к турецкому – к Османам, и к русскому (неминуемо оборачивающемуся великорусским) – к Романовым. Так что речь шла, вопреки Вдовину, не о мнимой утрате империей способности к защите русских интересов. Империи по своей сути непригодны ни для чего подобного; защита национальных интересов требует преобразования империи в национальное государство.

Представляется обоснованным вывод Э.Лора о том, что сам русский национализм явился одним из факторов, способствовавших разрушению “исторической России” [26]. Созвучные тезисам Лора мысли высказал еще в середине 20-х гг. П.Милуков [32, с.198]. Наблюдателями констатировалось усиление русского национализма, начиная с последней четверти XIX в., в особенности в премьерство П.Столыпина [39, с.509-521, 531-532, 541]. Однако этим самым сводилось на нет действие сформулированного А.Оболенским принципа: “в Российской монархии есть русский царь, перед которым все народы и все племена равны” [Цит. по: 39, с.509].

Несомненно, часть российского (точнее – русского) общества в начале XX в. действительно стремилась к превращению Российской империи в национальное государство. Вопрос лишь в том, возможна ли была подобная перестройка без риска разрушения самой государственной

структуры. В соседней Австро-Венгрии, где этнические немцы составляли 25% населения, отсутствие шансов на успех подобного замысла был очевиден (хотя венгры в Транслейтании и пытались осуществить собственный проект). Шансы России, в населении которой насчитывалось 43% великороссов, на первый взгляд представлялись значительно большими. Однако существовало серьезное препятствие, на которое указала Э.Томпсон. Если А.Миллер склонен подчеркивать слабость инструментария имперской власти и непоследовательность ее политики в национальном вопросе, то американская исследовательница в первую очередь выделяет слабость ассимиляционного потенциала России [54, с.46]. При всей враждебности значительной части ирландцев или индийцев к британцам, у них вряд ли возникали сомнения в культурном и цивилизационном превосходстве последних (тем более, что в ту эпоху требования политкорректности были еще неизвестны). Это же справедливо и относительно восприятия мадьярами или чехами немцев в Австро-Венгрии. Однако в России как минимум два народа – поляки и остзейские немцы – не имели никаких оснований считать великороссов превосходящими себя в данном отношении; подобные представления (в менее резкой форме) не были чужды и ряду других этносов империи.

В этих условиях идея создания “русского суперэтноса” оставалась не более чем (используя известные слова Николая II, сказанные по иному поводу) “беспочвенными мечтаниями”. Не представляется убедительным тезис В.Никонова о том, что к моменту крушения Россия соединяла в себе черты как империи, так и национального государства [38, с.302-311], во многом перекликающийся со взглядами А.Миллера [32, с.149 и сл.].

Что же касается сущности и попыток решения национальных проблем в Советском Союзе, то следует признать, что



по данному поводу возможны весьма несходные интерпретации имеющегося фактического материала. Признание того, что идея мировой революции пока что потерпела фиаско, обусловило переход к т. н. “строительству социализма в отдельно взятой стране”. Однако последнее в первые годы существования СССР должно было осмысливаться (по крайней мере, рефлексирующей частью населения) не в качестве самоцели, а как защита завоеванного мировым пролетариатом локального плацдарма с целью подготовки последующего наступления.

Вне всякого сомнения, революционные события – а опосредованно, через них, и катастрофа в I Мировой войне – привели к значительному ослаблению западного влияния в России. (Как уже отмечалось, тем же временем датируется и начало подобных процессов в глобальном масштабе). Западное происхождение социалистической идеологии (точнее, попыток ее научного обоснования) и марксизма в частности отнюдь не опровергает данного факта, тем более, что дискусионен – и, по сути, неразрешим – вопрос о степени соответствия советской практики марксистской теории. Не имея возможности остановиться на данной проблеме подробнее, замечу лишь, что я солидарен с теми, кто рассматривает данный проект как одну из многочисленных в XX веке попыток “преодоления” модернизации и возвращения, в тех либо иных формах, к традиционным общественным структурам. Стереотипное противопоставление “правых” тоталитарных идеологий, отвергающих идеи Просвещения, и “левых”, якобы укорененных в последних, не учитывает того очевидного факта, что само Просвещение как феномен интеллектуальной истории не является чем-то целостным, гомогенным: достаточно сравнить традиции, восходящие к Дж.Локку и Ж.-Ж.Руссо.

Тоталитарные режимы любого толка, хотя и становятся возможными лишь в

модерную эпоху, по своей сути ориентированы на ретроспективные утопии. Скажем, в случае с марксизмом, если отвлечься от псевдонаучной риторики, речь идет о возвращении человечества к “естественному состоянию”, хотя и на совершенно ином технологическом уровне; не случайно доцивилизационное состояние общества нередко определялось как “первобытный коммунизм”. Таким образом, мы, по сути, имеем дело с одним из вариантов “консервативной революции”, хотя трудно рассчитывать на признание этого факта самими сторонниками упомянутой идеологии. Последнее обстоятельство, впрочем, вряд ли следует считать решающим аргументом. Вспомним, что участники революции в Англии, излагая свои требования, апеллировали к якобы попорченным Стюартами “добрым старым английским обычаям”, хотя речь в действительности шла о новеллах. Однако в ту эпоху хорошим тоном все еще считалось опираться на авторитет старины, тогда как позднее интеллектуальная мода стала противоположной.

Результатом вышеизложенного стал феномен тоталитаризма, в его различных вариантах. Для нас же в данном случае важно, что советский проект ставил под вопрос перспективы формирования на этой территории современных наций. (Впрочем, даже в рамках привычных стереотипов о том, что корни социалистической идеологии лежат в идеях Просвещения, приходится вспомнить о ее принципиальной враждебности национализму).

Подтверждаются ли изложенные тезисы фактическим материалом? Как уже отмечалось, в отечественной (и не только) историографии распространено представление о том, что большевики, несколько модифицировав русификационную политику имперской власти, продолжали осуществлять ее в собственных интересах. Однако реальная картина была значительно более сложной и не такой однозначной. Более адекватно

отображена специфика национальной политики большевиков этого периода в работах Дж.Хоскинга [68, с.114-115, 120-127, 326; 67, с.89 и сл.], А.Вдовина и особенно – в вызвавшем значительный резонанс исследовании Т.Мартина “Империя “положительной деятельности”. Нации и национализм в СССР, 1923-1939” (“The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939”, 2001). Не менее адекватно основная идея этой работы отражена в украинском варианте перевода – “Імперія національного вирівнювання” [29].

Как убедительно показал автор, нет оснований сводить национальную политику большевиков исключительно или преимущественно к проявлениям великорусского шовинизма и реализации русификаторских задач. Одновременно, правда, наблюдается и противоположная крайность: часть российских авторов уже начала активно интерпретировать работу Мартина как якобы доказательство реализации в 20-30-е гг. последовательно русофобской линии в национальной политике, “искусственного” создания наций и удовлетворения национальных чаяний остальных народов за счет русских. Следует согласиться с тем, что национальная политика была для большевистского руководства, при всей важности, все же второстепенной и не столь принципиальной, как ряд иных политических, экономических и социальных вопросов, и, соответственно, проводилась куда менее последовательно и жестко: в связи с этим Мартин выделяет соответственно политику “мягкой линии” и политику “жесткой линии”. Хорошо известны примеры открытого проявления частью партийных и советских работников недовольства “украинизацией” и иными вариантами “коренизации”. При этом репрессии за несогласие с генеральной линией, если и следовали, были минимальны и ярко контрастировали с последующими действиями советской

власти (уже на рубеже 20-30-х гг.) по отношению к активистам политики “коренизации”, заклеившей теперь как проявление “буржуазного национализма”. Последняя в значительной степени девальвировалась тем, что “террор осуществлялся асимметрично – в большей степени против буржуазных националистов, чем против великодержавных шовинистов” [28, с.36-40].

Если же говорить об “искусственном конструировании” наций (прежде всего в Центральной Азии), то, полагаю, следует помнить о принципиальной отличии между приоритетами национальных “будителей” (какой бы то ни было принадлежности) и большевиков. Для первых окончательное оформление нации и обретение ею суверенитета были высшей, конечной целью; при этом акцент делался на солидарности всех ее членов, второстепенности социальных и экономических противоречий. В советской же практике “nation-building” было инструментом для укрепления позиций власти, средством, но никоим образом не целью; как следствие, не допускалось достойных упоминания уступок в пользу национальной солидарности за счет классовой.

Нет оснований гиперболизировать и степень институциональной дискриминации русских в составе СССР, материализованной в отсутствии собственной столицы, республиканских партийной организации, академии наук и т. п. Достаточно вспомнить Британскую империю рубежа XIX-XX веков. Входившие в ее состав доминионы обладали собственными парламентами, правительствами и столицами, тогда как Англия была лишена всего этого, поскольку ее соответствующие институты совпадали с общими и для Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, и для империи в целом. Вряд ли на этом основании правомерно делать вывод о некоей



дискриминации англичан по сравнению с канадцами или новозеландцами.

Не стоит забывать и о том, что провозглашенная в 1923 г. “коренизация” уже в начале 1930-х гг. была в значительной мере свернута (сперва фактически, позже – и формально), поскольку, с точки зрения официальной идеологии, роль главной опасности перешла от великорусского шовинизма к локальным национализмам. При этом отдельные элементы прежней политики наблюдались и позже, хотя все более сводились лишь к декларациям. В свете этого представляется вполне обоснованным принятый рядом авторов термин “националистический нэп”, подчеркивающий временный, тактический характер упомянутой политики большевистского руководства.

Что же до русификаторской политики, ощутило возобладавшей в СССР уже в 30-е гг., то и она, полагаю, в большей мере носила, если можно так выразиться, не “идеологический”, а “инструментальный” характер. Дальнейшая консолидация власти и самого государства представлялась первоочередной задачей в условиях, когда надежды на мировую революцию окончательно стали призрачными. Вполне естественна попытка опереться при этом на наиболее многочисленный этнос. Что же касается насаждения русского языка, то и это видится единственно возможным выбором тогдашних носителей власти. В какой-то мере стоявшие перед последними задачи можно сравнить с теми, разрешить которые должны были реформы Йозефа II в Австрии. Сопутствовавшая последним германизация была необходимым инструментарным сопровождением; другое дело, что советская власть, в отличие от “народного кайзера”, не могла ограничиться при этом лишь чиновничеством и военными. Постепенно оборачивающаяся русификацией, всеобщая ликвидация неграмотности, помимо потребностей индустриализации, не в меньшей мере диктовалась необходимостью

эффективной идеологической обработки населения. Большевики адекватно усвоили негативный опыт в этом отношении как режима Николая II, так и собственный, материализованный в результатах выборов в Учредительное собрание. (По контрасту с полуграмотной, преимущественно крестьянской Российской империей страна с наивысшим уровнем грамотности в мире – Германия, как хорошо известно, стала ареной триумфа умелой пропаганды стремящейся к власти политической силы с тоталитарной идеологией).

Безусловно, перемены в национальной политике большевиков были не столь решительны и всеобъемлющи, как этого желали бы русские националисты. Вероятно, одной из причин, определявших нежелание излишне педалировать русификационные процессы в межвоенный период, было то, что советской элитой не был еще забыт собственный опыт времен I Мировой и гражданской войн: этот опыт подсказывал, что делать решающую ставку на русский национализм достаточно рискованно. Поэтому справедливым представляется вывод о том, что “русский национализм, который так старательно насаждал Сталин, был совершенно не таким, каким его признавало и исповедовало большинство дореволюционных русских националистов” [68, с.126].

В наше время весьма распространено представление о том, что одним из решающих факторов победы СССР во II Мировой войне явился отход от интернационально-коммунистических лозунгов в пользу национально-патриотических. (При этом, однако, часть авторов считает, что “русский народ в массе своей не рассматривал СССР как свое национальное государство” [11, с.3]). Война – точнее, обескураживающие для сталинского руководства результаты ее начального периода – действительно обусловила значительные уступки русскому (и не только) национальному самосознанию,

изменение политики по отношению к церкви и т. п. Однако, думаю, преувеличением было бы считать, что именно война положила начало решительному повороту от “пролетарского интернационализма” к “советскому патриотизму”, основанному прежде всего на “национальной гордости великороссов”. Как только что отмечалось, сдвиги в этом направлении стали заметными еще с начала 1930-х гг. [11, с.42-141, 168], однако предпринятые ранее шаги не уберегли от катастроф первого года войны. При всем масштабе изменений военных лет, представляется все же, что они были не качественными, а количественными, лишь усиливая тенденции, все более явно проявлявшиеся в течение предыдущего десятилетия.

Обращение исследователей к вопросу о том, каким комплексом факторов была обусловлена победа СССР над Германией и каково их взаимное соотношение, перманентно влечет за собой оживленную полемику, в значительной мере обусловленную идеологическими мотивами. Я позволю себе сделать лишь несколько замечаний по данной проблеме. Прежде всего вспомним о том разительном контрасте, который представляют собой история участия Российской империи в I Мировой войне и Советского Союза – во II. Держава Романовых переживала в начале войны ощущение близкого триумфа, единение и эйфорию, потерпев в итоге катастрофу. Таким образом, исход I Мировой войны для царской России оказался подобным началу противостояния с Германией для СССР (в данном случае приходится вынести за скобки участие “государства рабочих и крестьян” в начальном периоде войны), и наоборот. При этом в наше время перестало быть секретом то, что катастрофические поражения советских войск произошли в условиях их значительного количественного (а по некоторым позициям и качественного) преимущества над противником в

вооружениях и военной технике, не говоря уже о человеческих и материальных ресурсах.

Российские историки (вслед за советскими) зачастую подчеркивают “молниеносность” побед Германии над ее европейскими противниками. При этом забывается, что большинство последних были совершенно несопоставимы с III Райхом (а тем более – СССР) по своему потенциалу. Это относится и к Дании с Норвегией, и к Бельгии с Нидерландами, и к Греции с Югославией. Что же до стереотипа, противопоставляющего “триумфальный марш” вермахта в польской и французской кампаниях “героическому сопротивлению” со стороны советских войск, то для его опровержения, как заметил М. Солонин, достаточно вооружиться географической картой и (при необходимости) таблицей умножения. Окажется, что уже за первые 3 недели войны против СССР вермахт продвинулся на 350-500 км. и занял территорию площадью в 700 тыс. кв. км., что примерно в 3 раза больше территории Польши, оккупированной в сентябре 1939 г., и в 6 раз больше территорий Бельгии, Нидерландов и северо-восточной Франции, захваченных в мае 1940. Потери немецких войск в живой силе к этому моменту были в 1,5-2 раза меньше, чем за аналогичный период в мае 1940, в танках – примерно равными (при том, что французские средства противотанковой обороны весьма существенно уступали советским), а потери люфтваффе – вдвое большими на Западном фронте, нежели на Восточном [49, с.340 и сл.].

Почему же СССР не постигла судьба Польши или Франции? Упомянутые поражения не стали для него фатальными в силу наличия огромных ресурсов и территориальной глубины для отступления (вспомним заявление Александра I посланнику Наполеона о готовности отступать хоть до Камчатки). Тут следует отметить одно любопытное – и вряд ли случайное – обстоятельство. Война 1939-45



гг. явно в большей степени, нежели ее предшественница, заслуживает названия “мировой”. В то же время расстановка сил в ней в мировом масштабе нечасто представлена на географических картах; как правило, дело ограничивается Европой. Определить причину этого, думаю, нетрудно. Очертания Германии, вместе со всеми аннексиями, оккупированными территориями и сателлитами, даже на пике ее успехов не производят впечатления на наблюдателя, в сравнении даже лишь с тремя ее основными противниками: Британской империей, СССР и США. Этой ситуации не изменил бы и учет Японии и ее завоеваний (если преднамеренно забыть о том, что она не оказала поддержки своей союзнице по пресловутой оси Берлин – Токио – Рим). Во II Мировой войне III Райху противостояла, по справедливому замечанию Й.Феста, “коалиция почти всех государств мира” [64, с.12].

Куда реже, нежели изменения в национальной политике военных лет, вспоминают помощь СССР по ленд-лизу со стороны западных союзников. Адекватно соотнести значение этих двух факторов, разумеется, трудно: как сравнить весомость обращения к именам Александра Невского, Суворова или Кутузова, с одной стороны, и 4,5 миллионов тонн продовольствия и без малого полумиллиона автомобилей – с другой? Представляется, однако, что не менее существенную роль сыграли характер режима, противостоявшего сталинскому, и его политика по отношению к народам Советского Союза. Не подлежит сомнению, что значительной части населения СССР (в особенности из числа городских жителей и молодежи) к этому времени уже был привит сознательный советский патриотизм. Однако для остальных (вероятно, большинства) речь шла об элементарном выживании, инстинкте самосохранения. Именно действия нацистов на оккупированных территориях позволили власти большевиков обрести в глазах этих ее подданных статус “меньшего зла”.

В послевоенный период можно констатировать в целом усиление русификаторской политики руководства СССР. Тем не менее и в этих условиях часть русских националистов считала предпринимаемые меры недостаточными и твердила о необходимости более решительного и открытого перехода “от марксистского космополитизма к государственно-национальной политике” [46, с.38]. (Очень схожие идеи были популярны среди сербов в послевоенной Югославии). В силу специфики советской политической системы, трудно уверенно судить о распространенности подобных настроений и их поддержке в обществе. С точки зрения самих представителей “русской партии”, власть осознанно и жестко противодействовала последней, а наиболее последовательным сторонником подобного подхода называется Ю.Андропов [46, *passim*; 11, с.299-302]. Примечательно, впрочем, что биографы последнего, стоящие на иных идеологических позициях, вообще не упоминают о данном сюжете, очевидно, в силу его маргинальности и малозначимости [31].

Следует констатировать, что руководство СССР в последние десятилетия его существования старалось не предпринимать слишком резких шагов в национальной сфере. С одной стороны, это было данью в целом возобладавшему консервативным тенденциям, боязни любых перемен. Но вместе с этим очень вероятно, что пресловутая геронтократия оценивала ситуацию более трезво, нежели силы, рупором которых служили “Молодая гвардия” и “Наш современник”. Последние, думаю, явно недооценивали вероятную реакцию на перспективы усиления русского национализма со стороны второй половины населения СССР. Политбюро же, несмотря на то, что уже давно состояло преимущественно из этнических русских, должно было отдавать себе отчет относительно не только потенциальных политических дивидендов, но и опасностей

резкого разворота национальной политики навстречу великорусскому шовинизму.

При всей условности любой исторической параллели, трудно удержаться от сравнения данной ситуации с той, в которой с середины XIX в. оказались Габсбурги, а чуть позже – Романовы. Если в традиционных монархиях подданные, независимо от этнической принадлежности, были равны перед династией, то в СССР – перед партией. Несомненно, формирование полноценной современной (велико)русской нации тормозилось и при монархии, и при большевиках имперскими задачами. Но и само развитие русского национализма – как в царскую, так и в советскую эпохи – способствовало не только ассимиляции других этносов, но и одновременно становлению и усилению их собственных национализмов.

Отечественным авторам зачастую трудно удержаться от определенной демонизации как Российской империи, так и СССР. Критикуя подобный подход, А.Миллер указывает на то, что монархию Романовых неправомерно представлять “империей зла” [32, с.11]. С этим в целом можно согласиться, тем более с учетом того, что в свете нынешних требований политкорректности воплощением абсолютного зла зачастую признается лишь один политический режим за всю историю человечества, тогда как даже в тоталитаризмах сталинского или маоистского толка целенаправленно отыскиваются позитивные стороны. Тем не менее, перефразируя слова российского исследователя, если “историческая Россия” и не была полноценной империей зла, то уж тем более не являлась средоточием добра, в сравнении с современными ей государственными образованиями и культурно-историческими общностями.

Однако, говоря о демонизации, я имел в виду прежде всего распространенную тенденцию гиперболизации мощи России. В действительности же последняя прибрела огромные размеры прежде всего

за счет либо уже предельно ослабленных (подобно Речи Посполитой и Османской империи) государств, либо малонаселенных территорий: естественно, в землях инков, ацтеков, майя или чибча испанские колонизаторы не могли не быть конкистадорами, тогда как русские завоеватели Сибири выглядели всего лишь землепроходцами. Дж.Кеннан верно подметил, что России свойственно распространять свои власть и влияние, пользуясь обстоятельствами, отсутствием сопротивления, “как вода течет, подчиняясь законам гравитации” [Цит. по: 61, с.209]. К сказанному стоит лишь добавить, что эта характеристика справедлива не только по отношению к сталинскому СССР (о котором в данном случае шла речь), но и к “исторической России” в целом.

При своих грандиозных масштабах, Российское государство практически никогда не было столь грозным, как представлялось сторонним наблюдателям. Пребывание в плену расхожих стереотипов рисует картину почти неизменных побед российского оружия над многочисленными и опасными врагами, тогда как в действительности дело обстояло несколько иначе. Войны на собственной территории Россией действительно обычно выигрывались, в силу вышеупомянутых факторов, прежде всего – численности и пространства. При этом не следует забывать, что, например, походы вглубь России и Карла XII, и Наполеона имели целью не завоевание (невозможность которого была совершенно очевидна), а, как модно сейчас выражаться, “принуждение к миру”. В противостоянии же с первоклассными европейскими (и не только) державами за пределами своих границ успехи России или бывали весьма скромны, или достигались в составе широких коалиций. Если припомнить лишь XX век, то исключением из общего ряда (война с Японией, I Мировая, война в Афганистане) будет выглядеть как раз II Мировая война, за вычетом финской кампании.



Немаловажно и то, что внешняя сила (прежде всего военные возможности) не всегда соразмерны внутренней крепости государственного организма. Ярчайшим примером этого стал СССР, не спасенный от распада ни многомиллионной армией, ни 60 000 танков, ни паритетным с США ядерным арсеналом; напротив, обзаведение всем вышеперечисленным ускорило банкротство режима и государства в целом.

В случае с Российской империей определенным оправданием ее краха можно признать тяготы войны (впрочем, как уже говорилось выше, отнюдь не запредельные, если сравнивать с другими участниками I Мировой). Для распада же Советского Союза не понадобилось и войны, разве что “холодная”; не было и по-настоящему катастрофической экономической ситуации. Неудивительно, что для очень многих события 1991 г. оказались совершенно неожиданными. По словам булгаковского Воланда, человек “иногда внезапно смертен”. Такая же “внезапная смертность” оказалась присущей в 1917 и 1991 гг. обоим государствам, построенным на российском фундаменте. Вряд ли это могло быть случайностью.

Особенно примечательно то, что симптомы близящейся катастрофы укрылись от глаз большинства западных советологов, посеяв сомнения в их компетентности. В этом свете неудивительны попытки некоторых из них представить крах СССР как “случайное” событие, которого вполне можно было избежать и соответственно – невозможно предвидеть. До предела подобная позиция доведена в работе С.Козна [20], пришедшего к парадоксальному выводу, в соответствии с которым решающим в распаде Советского Союза стал субъективный фактор, а именно действия и личное соперничество Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Между тем продуктивнее было бы обратиться к цитировавшимся выше словам С.Мельгунова по поводу падения дома Романовых, применив их к рассматриваемому случаю. Не столь важно,

что убежденных сторонников независимости Украины и других республик было не так уж много; главное, что готовых открыто выступить за сохранение СССР и коммунистического режима в решающий момент не оказалось почти вовсе. (Позже, когда стало ясно, что сам по себе конец советской власти не принес немедленно материального процветания, многие задним числом стали – часто вполне искренне – считать себя таковыми, но речь идет не о них). Практически повторились события февраля 1917 г., когда в защиту прежней власти не выступил никто. Как отмечалось, некоторые авторы характеризуют обстоятельства падения монархии и династии Романовых как “грехопадение всего народа”; аналогичную оценку краха коммунизма и самого СССР дал А.Зиновьев, честно признавший, что в своей массе советское население не пожелало их защищать.

Предельно упрощая, можно предложить следующую схему процесса распада “исторической России” в XX веке. В I Мировой войне незавершенность формирования великорусской нации вкупе с рядом острых национальных, социальных и экономических проблем сделали царскую Россию “слабым звеном” антигерманской коалиции и привели ее к распаду. Правда, уже через несколько лет почти все эти земли были собраны воедино, однако, что немаловажно, отнюдь не под лозунгами восстановления “единой и неделимой”. Напротив, речь шла о ряде уступок национализму нерусских народов; огромную роль, разумеется, сыграла и социальная демагогия большевиков, в первую очередь по отношению к крестьянству.

Надежды на осуществление и национальных, и социальных чаяний значительной – если не большей – части населения развеялись в начале 30-х гг. Закономерным итогом этого стало то, что через несколько недель войны с Германией большевистский режим оказался на грани

краха. Последнему не дали осуществиться прежде всего идеология и практика нацистского режима, огромное превосходство СССР в человеческих и материальных ресурсах, а также помощь западных союзников.

Наконец, последний распад состоялся практически без единого выстрела, поскольку целостность Советского Союза в 1991 г. попросту никто не захотел защищать. Вера в светлое будущее, которая помогла большевикам победить в первый раз, была уже практически исчерпана, а смертельно опасного врага, чье наличие “спасло” их во второй, не существовало. Примечательно, что самого по себе сознательного патриотизма оказалось в конечном счете недостаточно для сохранения как монархии Романовых, так и позднего СССР.

Вышесказанное подводит к весьма интересным выводам. В начале XX века утрата Россией завоеванных ранее не(велико)русских территорий и возвращение ее к естественным границам (или, по российской терминологии, распад “исторической России”), вопреки планам части немецких лидеров, не состоялись, точнее, были вскоре преодолены. Тем не менее в конце столетия это все же произошло, хотя и при совершенно иных обстоятельствах, расстановке сил, а главное, основных выгодополучателях произошедшего. Этот очевидный факт признан и в российской историографии. Так, А.Уткин констатировал: “...воспоминание о Первой мировой войне стало для нас еще актуальнее спустя десятилетия, потому что ее “германские” цели оказались выполненными. Но выполненными совсем в другое время и совсем другими людьми” [59, с.22]. О том же писала Н.Нарочницкая: “К XXI веку все, что за две мировые войны не удалось германцам..., превосходно сделали англосаксы” [37, с.14]. Подобно герою блестящей новеллы О.Генри “Дороги, которые мы выбираем”, Российское государство в его имперских границах, меняя пути развития, оказалось тем не менее

не в силах избежать фатальной для себя развязки.

Как результат, напрашивается весьма непривычная, с точки зрения обитателей постсоветского пространства, интерпретация обоих мировых конфликтов, точнее, как уже отмечалось, единого глобального противостояния с двадцатилетним “антрактом”. Чудовищные жертвы, понесенные СССР, и его огромная роль в разгроме сухопутных сил III Райха зачастую заслоняют важные обстоятельства, вполне очевидные при более хладнокровном и отстраненном анализе.

В обеих Мировых войнах Германии последовательно противостояли прежде всего англосаксы, сперва при ведущей роли Великобритании, впоследствии – США. Россия в первом случае выбыла из войны за год до конца (фактически – еще раньше); во втором СССР, если принимать во внимание реальные действия, а не наличие либо отсутствие формальных договоренностей, без малого первые два года войны был, по сути, союзником Германии. Знаменательно, что последнее обстоятельство, вопреки общей идеологической атмосфере, находит признание в российской академической среде [47, с.345-347, 351, 360, 362-363, 366-367]. Зачастую – намеренно или нет – упускается из виду и то обстоятельство, что СССР оказался в составе антигитлеровской коалиции отнюдь не в силу собственного выбора, а вследствие нападения со стороны Германии.

Британское же руководство последовательно отвергало перспективы примирения с нацистским режимом и после разгрома Польши, и оставшись ровно на год (после фактической капитуляции Франции 22 июня 1940 г.) один на один в борьбе с Германией. Этот очевидный факт не опровергается поисками компромисса с III Райхом со стороны отдельных политиков. Изначально было ясно и то, кому в данном противостоянии принадлежат симпатии подавляющего большинства политических лидеров и общества США, что вскоре стало



матеріалізуватися в конкретній допомозі Великобританії. Друге дело, що, в силу ізоляціоністських настроїв, для відкритого вступлення в війну адміністрації Франкліна Рузвельта потрібно було відкрито спровокувати на напад Японію.

Противостояние англосаксонских государств Германии не сводилось к банальной борьбе геополитических, экономических и иных интересов. В данном случае речь шла и о том, какая модель общественно-политического развития одержит верх. Й. Фест писал об этом: «Она (II Мировая война. – В.В.) стала своего рода всемирной гражданской войной, которая решала не столько вопрос власти, сколько морали, которая будет господствовать впредь в мире» [65, с.372]. Вплоть до катастрофы 1945 г. и среди германских интеллектуалов, и в обществе в целом преобладало убеждение в «особом пути» (Sonderweg) собственной страны; соответствующие высказывания времен I Мировой приводились выше. Коренные изменения в этом отношении произошли лишь во второй половине XX века, причем при решающей роли внешних факторов. (Собственно, малоуспешность, в отличие от Германии, политических и экономических реформ в постсоветских государствах во многом объясняется отсутствием «внешнего управления», когда задача реформирования старой системы возлагалась на элиты, являющиеся ее же порождением).

Таким образом, I и II Мировые войны действительно следует признать растянутым во времени и разделенным двадцатилетним перерывом глобальным конфликтом между англосаксами и Германией. Итогом стала победа первых; это вынуждены признавать даже наиболее шовинистически настроенные российские историки [37, с. 14-15, 19-20]. Однако в истории (как и в жизни) выгодополучателями от чьего-либо поражения нередко становятся и те, кто не был непримиримым противником проигравших. Именно в такой роли и

оказался СССР после 1945 г., в силу того, что поражение Германии создало вакуум силы в континентальной Европе. Парадоксально, но понесший огромные человеческие и материальные потери Советский Союз оказался теперь куда более влиятельным геополитическим актором, нежели в межвоенный период.

Упомянутое усиление СССР до роли второй сверхдержавы, полагаю, следует расценивать как побочное следствие II Мировой войны. Означало ли это, что, победив одного противника, англосаксонский мир и либеральная идеология получили взамен иного, равноценного? Считаю, это не так. Как уже отмечалось выше, накопленный за четыре столетия опыт позволил (если не американским, то более искушенным британским) политикам безошибочно определить врага №1. Сам тот факт, что после 22 июня 1941 г. Великобритания, а за ней и США приняли сторону Советского Союза в его противостоянии с Германией, однозначно свидетельствует о том, что именно последняя воспринималась ими в качестве главной угрозы. (В свете этого следует расценивать и многочисленные конспирологические теории о возможных обстоятельствах, целях и следствиях знаменитого полета Рудольфа Гесса в Великобританию в мае 1941 г.). Это подтвердил и сам дальнейший ход событий. Совокупными усилиями почти всего мира III Райх был повержен; есть все основания полагать, что сделать это было возможно лишь с помощью внешней силы. Его место достаточно неожиданно для западных держав занял новый противник, представлявший времена не менее опасным. Однако ход истории доказал ошибочность этого взгляда. Многие из нас были непосредственными свидетелями того, что для распада СССР не потребовалось ни войны, ни полномасштабной экономической катастрофы, а всего несколько десятилетий – отнюдь не тотальной – «холодной войны».

Крах Советского Союза в 1991 г., как уже отмечалось, принято воспринимать как рубеж, завершающий "короткий XX век". Это мнение разделяют даже те, кто изначально отнесся со скепсисом к идее Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории". Но так ли обстоит дело в действительности?

Характеризуя последствия краха нацистского режима для Германии, В.Лакер писал: "Германия после Гитлера не только оказалась расколотой и ослабленной, она стала совершенно другой страной. Огни, погашенные в 1939 г., не зажглись вновь. ... Германия и Центральная Европа до Гитлера были одним из политических и культурных центров мира. ... в старой Европе ... был культурный центр мира, который исчез, не оставив преемника" [21, с.392]. С большим оптимизмом (что примечательно) эти же перемены интерпретировались многими немцами. По мнению Й.Феста, "... более молодое поколение ... отрезало, будучи свободным от сантиментов, предрассудков и воспоминаний, связующие нити, ведущие к прошлому. ... Оно ... отрелось и от любого рода интеллектуального радикализма, от любого рода асоциальной страсти к великой теории и оставило прошлому то, что столь долго было присуще немецкому мышлению: системность, глубокомыслие и пренебрежение реальностью. ... для него нет больше царств никогда не существовавшего прошлого и химерического будущего, впервые страна начинает жить в ладу с реальностью. Но вместе с тем немецкая мысль утратила и нечто от своей тождественности... "Немецкий сфинкс", о котором говорил Карло Сфорца незадолго до прихода Гитлера к власти, расстался со своей загадкой, и миру от этого стало лучше" [65, с.611-612].

Распад СССР и крах коммунизма выглядели такими же многообещающими в плане перемен в России, которые должны были привести к ее сворачиванию с "особого пути", тягостного для собственного населения и небезопасного для близких и далеких соседей. Существовали

небезосновательные надежды на то, что силы реставрации и реванша в постсоветской России, в отличие от Веймарской республики, не сумеют достичь успеха, и страна окончательно перестанет быть Востоком Ксеркса, ряженого в одежды Христа. Этому должны были способствовать и "тучные нулевые" годы, в особенности если задуматься о том, что относительное изобилие этих времен правомерно рассматривать не как результат обратного разворота от политики "лихих девяностых", а, напротив, как наконец-то наступивший эффект предыдущих реформ, в частности, полноценного включения в мировую экономику.

Неудивительно, что в условиях эйфории от победы в "холодной войне", падения "железного занавеса" и начала либеральных и демократических преобразований в бывших социалистических странах Запад начал, по сути, процесс одностороннего разоружения, сравнимый разве что с таковым в ведущих странах Европы, прежде всего Великобритании, после I Мировой войны [70, с.217-219] (хотя в СССР и мало это верили). В обоих случаях имела место жесточайшая экономия на финансировании вооруженных сил, естественным следствием которой стало резкое падение их боеспособности (открыто признаваемое сейчас, в частности, со стороны НАТО).

Ход истории, однако, как в первый, так и во второй раз посрамил надежды оптимистов. Многозначительным сигналом стал уже пресловутый эпизод, когда президент РФ В.Путин в послании федеральному собранию 25 апреля 2005 г. назвал крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века [73]. Параллельно, под аккомпанемент lamentаций о "недопустимости попыток переписывания истории", в РФ развернулась масштабная кампания по созданию собственных, "улучшенных" версий прошлого. Безусловно, в этом нет ничего уникального: практически любому народу и государству



присуще стремление если не превратить собственные поражения в победы, то, по крайней мере, оттенить героические и обойти постыдные страницы собственной истории.

Яркой иллюстрацией упомянутой тенденции стало заявление Путина 1 августа сего года о том, что у России якобы была украдена победа в I Мировой войне [75]. Вряд ли оно стало для кого-то неожиданным. Показательно, однако, что даже победа СССР во II Мировой, с точки зрения некоторых авторов, требует “улучшения” и создания альтернативной версии войны, в которой СССР и его немногочисленные союзники (Польша, Чехословакия, Югославия, Болгария) противостоят всемирной коалиции – Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, США, Китаю, Турции и т. д. Итог – присоединение к России, помимо прочего, Финляндии, половины Румынии, зоны проливов, Монголии, Маньчжурии, Китайского Туркестана, Кореи, Аляски, Гавайских островов и британских владений в Африке [25].

Безусловно, описанный случай можно было бы рассматривать как забавный курьез, не находясь он в таком очевидном резонансе с общей идеологической ситуацией в постельцинской России. Последняя живо напоминает ту, в которой первобытные люди рисовали на стенах пещер сцены охоты на еще не убитых медведей и бизонов, за тем исключением, что в нашем случае имеем дело со все новыми виртуальными победами над давно поверженными (или, что еще экзотичнее, никогда не побежденными) противниками. Подобные психологические комплексы не удивительны для Украины, с ее укорененной традицией виктимности и пространных рассуждений об “украденных победах” (скажем, гипотетических триумфах, которых лишил Богдана Хмельницкого сперва под Зборовом, а двумя годами позже – под Берестечком его союзник Ислам-Герай III). Однако, как видим, в случае с нынешней Россией аналогичные

комплексы куда масштабнее, а их укорененность в коллективном бессознательном, в сочетании с преднамеренным культивированием, представляет собой серьезнейшую угрозу, причем в наше время – уже не только потенциальную.

Признавать собственные ошибки полезно в любом случае. К сожалению, я не могу отнести себя к тем проницательным наблюдателям, которые уже достаточно рано отдавали себе отчет в том, что изменения в политике России носят долгосрочный и (пока) необратимый характер, чреватый дальнейшей эскалацией и возрастающими угрозами ее соседям. Существовала все же надежда, что ситуация не так безнадежна [10, с.130]. Слабым утешением служит то, что, помимо историков, для которых футурологические экзерсисы не являются основным полем деятельности, в подобной же ситуации оказалось большинство и политологов, и политиков.

После как I Мировой, так и “холодной” войн в стане победителей совершенно очевидно брало верх легкомысленное отношение к побежденной стороне. Формулируя тему I тома своей “Второй Мировой войны”, Черчилль написал об этом так: “Как народы, говорящие на английском языке, из-за своего неблагоприятия, легкомыслия и добродушия позволили вновь вооружиться силам зла” [69, с.9]. Трудно поверить, что эти слова произнесены не в 2014 г.

Можно вспомнить банальную сентенцию о том, что единственный урок истории – то, что она никого, никогда и ничему не учит. Однако, на мой взгляд, существуют и некоторые основания для умеренного оптимизма (историк не должен пытаться выступать в роли Кассандры, поэтому речь идет не о попытке предсказания, а об основанной на фактах прошлого надежде). Безусловно, история никогда не повторяется, но, как точно подметил в свое время Марк Твен, часто рифмуется. Завершение “холодной войны”,

таким образом, служит “рифмой” к завершению I Мировой. В обоих случаях победители оказались чересчур беспечны и легкомысленны, недооценив склонности поверженных противников к реваншу и их возможности на этом пути. Примерно двадцатилетний “антракт” между окончанием Великой войны и концом 30-х гг. соответствует периоду такой же длительности (начиная с 1991 г.), завершившемуся в наши дни. Единственный эпизод, пока не получивший собственной “рифмы”, – это II Мировая война.

Таким образом, как представляется на данный момент, окончание XX века (не календарного, но исторического) было возведено преждевременно. Соответственно, и сам век оказывается отнюдь не “коротким” (1914-1991), а “длинным”, поскольку время его окончания пока что неизвестно никому.

В нынешней глобальной ситуации главная задача, стоящая перед цивилизацией Запада, одновременно сложна и проста: не совершить новой ошибки, аналогичной прежним. В прошлом “цикле” 1914-45 гг. этого повторения удалось избежать. Разумеется, “нормализация” России, в отличие от Германии, невозможна путем открытого военного противостояния (тем более в ядерную эпоху). Однако, если прецедент в истории весом настолько же, насколько в англосаксонском праве, в этом и нет нужды. Уже отмечалось, что и II, и III Райхи возможно было победить лишь военным путем, поскольку внутренне германские народ и государство были достаточно сплочены и прочны. Российский же случай представляется качественно иным. Несомненно, тамошняя власть нередко преподносит сюрпризы и своим противникам, и союзникам, и собственному народу. Но, в свою очередь, и сами народ и страна не реже и не меньше удивляют как окружающий мир, так и собственных правителей. Поэтому, при всех трагедиях и угрозах 2014 и, вероятно,

последующих лет, стоит помнить, что после 1914 года в России случается и 1917.

Библиография

1. Архив полковника Хауза. Избранное. – Т.1-2. – М.: АСТ-Астрель, 2004.
2. Белаш Е.Ю. Мифы Первой мировой. – М.: Вече, 2012.
3. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М.: Вече, 2013.
4. Брюханов В.А. Заговор против мира. Кто развязал Первую мировую войну. – М.: АСТ-Астрель, 2005.
5. Бубнов А.Д. В Ставке верховного главнокомандующего. – М.: Вече, 2014.
6. Буровский А.М. Великая Гражданская война 1939-1945. – М.: Яуза-Эксмо, 2009.
7. Бутаков Я.А. Проблема дееспособности российских элит в Первой мировой войне: критика некоторых устоявшихся концепций // Забытая война и преданные герои. – М.: Вече, 2011. – С.45-51.
8. Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. – 2-е изд. – М.: Междунар. отношения, 1991.
9. Вандам Е.А. Геополитика и геостратегия. – М.: Кучково поле, 2002.
10. Василенко В.О. История II Мировой: между Скиллой ревизионизма и Харибдой стереотипов, в плену актуальности // Гуманитарный журнал. – 2011. – №3-4. – С.111-131.
11. Вдовин А.И. Русские в XX веке. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
12. Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: У 2 кн. – Кн.1. Історичні нариси. – К.: ТОВ “Видавництво “КЛЮ””, 2014.
13. Винниченко В. Відродження нації. – Ч.I-III. – К.-Відень, 1920.
14. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: Астрель-CORPUS, 2012.
15. Галин В.В. Запретная политэкономия. Революция по-русски. – М.: Алгоритм, 2006.
16. Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917г. – апрель 1918г. – М.: Наука, 1991.
17. Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота // Зомбарт В. Собр. соч. в 3-х т. – Т.П. – СПб.: “Владимир Даль”, 2005. – С.5-102.
18. Карр Э. История Советской России. – Кн.1. Т.1-2. Большевицкая революция. 1917-1923. – М.: Прогресс, 1990.
19. Катков Г.М. Февральская революция. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006.
20. Коэн С. “Вопрос вопросов”: почему не стало Советского Союза? – М.-СПб.: “Дмитрий Буланин”, 2007.
21. Лакер У. Россия и Германия. Наставники Гитлера. – Вашингтон: Проблемы Восточной Европы, 1991.
22. Лиддел Харт Б. Битвы Третьего рейха. Воспоминания высших чинов генералитета нацистской Германии. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005.
23. Лиддел Гарт Б.Г. Правда о Первой мировой войне. – М.: Яуза-Эксмо, 2010.



24. Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма. – М.: ИРИСЭН, 2006.
25. Липилин В.С. Вторая Мировая война, 1959-1964: альтернативный вариант: В 2-х т. – М.: АСТ–Астрель – Хранитель, 2007.
26. Лор Э. Русский национализм и Российская империя: кампания против “вражеских подданных” в годы Первой мировой войны. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.
27. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. Первая мировая война в записках германского полковника. 1914-1918. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007.
28. Мартин Т. Империя “положительной деятельности”. Нации и национализм в СССР, 1923-1939. – М.: РОССПЭН, 2011.
29. Мартин Т. Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському Союзі (1923-1939 роки). – К.: Критика, 2013.
30. Матвеева А.М. Державные задачи России в работах основателей отечественной геополитики накануне и после первой мировой войны // Забытая война и преданные герои. – М.: Вече, 2011. – С.36-44.
31. Медведев Р. Юрий Андропов: Неизвестное об известном. – 2-е изд. – М.: Время, 2004.
32. Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. – М.: Новое литературное обозрение, 2006.
33. Милюков П.Н. Воспоминания. – М.: Вагриус, 2001.
34. Мірчук П. Українська державність 1917-1920. – Філадельфія, 1967.
35. Мульгагули П.В. Николай II: Отречение, которого не было. – М.: АСТ-Астрель, 2010.
36. Мурхед А. Борьба за Дарданеллы. Решающее сражение между Турцией и Антантой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004.
37. Нарочницкая Н.А. Война, смертельно опасная для России. ... // Забытая война и преданные герои. – М.: Вече, 2011. – С.7-20.
38. Никонов В. Крушение России. 1917. – М.: АСТ-Астрель, 2011.
39. Ольденбург С.С. Царствование Николая II. – М.: АСТ-Астрель, 2008.
40. Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. – М.: Вече, 2011.
41. Пайпс Р. Русская революция. – Ч.1-2. – М.: РОССПЭН, 1994.
42. Палеолог М. Дневник посла. – М.: “Захаров”, 2003.
43. Пуанкаре Р. На службе Франции 1914-1915: Воспоминания. Мемуары. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002.
44. Пуанкаре Р. На службе Франции 1915-1916: Воспоминания. Мемуары. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002.
45. Рубцов Ю.В. Первая мировая война в трудах русской военной эмиграции // Забытая война и преданные герои. – М.: Вече, 2011. – С.268-288.
46. Семанов С.Н. Секретная миссия Андропова. – М.: Яуза-каталог, 2014.
47. Системная история международных отношений в двух томах / Под ред. А.Д. Богатурова. – 2-е изд. – Т.1. События 1918-1945 годов. – М.: Культурная революция, 2009.
48. Соколов Б. СССР и Россия на войне. Людские потери в войнах XX века. – М.: Яуза-пресс, 2013.
49. Солонин М.С. 22 июня. Анатомия катастрофы. – 2-е изд. – М.: Яуза – Эксмо, 2008.
50. Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3-х т. – Т.1. Кн.1-2. – М.: Политиздат, 1991.
51. Такман Б. Августовские пушки. – М.: Астрель, 2012.
52. Террейн Дж. Великая война. Первая мировая – предпосылки и развитие. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004.
53. Тирпиц А. фон. Воспоминания. – М.: Воениздат, 1957.
54. Томпсон Е.М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2006.
55. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. – М.: ПРОЗАИК, 2014.
56. Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Победы и поражения советской дипломатии. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009.
57. Уорт Р. Антанта и русская революция. 1917-1918. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006.
58. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М.: Междунар. отношения, 1989.
59. Уткин А.И. Забытая война // Забытая война и преданные герои. – М.: Вече, 2011. – С.21-27.
60. Уткин А.И. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. – Смоленск: Русич, 2000.
61. Уткин А.И. Подъем и падение Запада. – М.: АСТ, 2008.
62. Уткин А.И. Черчилль: победитель двух войн. – Смоленск: Русич, 1999.
63. Фей С. Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства. – М.: Вече, 2010.
64. Фест И. Гитлер. Биография. Путь наверх. – М.: Вече, 2009.
65. Фест И. Гитлер. Биография. Триумф и падение в бездну. – М.: Вече, 2009.
66. Фуллер У. Внутренний враг: Шпиономания и закат императорской России. – М.: Новое литературное обозрение, 2009.
67. Хоскинг Дж. Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.
68. Хоскинг Дж. Россия и русские: В 2-х кн. – Кн.2. – М.: АСТ-Транзиткнига, 2003.
69. Черчилль У. Вторая мировая война: В 3-х кн. – Кн.1. Т.1: Надвигающаяся буря; Т.2: Их звездный час. – М.: Альпин-нон-фикшн, 2011.
70. Черчилль У. Мои великие современники. – М.: “Захаров”, 2011.
71. Шацкило В.К. Последняя война царской России. – М.: Яуза-Эксмо, 2010.
72. Яси О. Распад Габсбургской монархии. – М.: Три квадрата, 2011.
73. <http://president.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml>
74. <http://www.coldwar.ru/bases/telegramm.php>
75. http://www.gazeta.ru/politics/2014/08/01_a_6154833.shtml

